





# Петр КРАСНОВ



## ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ  
В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство  
АЛЬФА-КНИГА

Москва  
2018

УДК 82-311.6  
ББК 84(Рос-Рус)6  
К78

Серия основана  
в 2007 году

*В тексте сохранена  
авторская орфография  
и пунктуация*

**Краснов П. Н.**

К78 От Двуглавого Орла к красному знамени. Полное издание в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018. — 1194 с.: ил. — (Полное издание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-2662-1

Петр Николаевич Краснов (1869 – 1947) — русский генерал, писатель и публицист. Его романы и воспоминания издавались на многих европейских языках. Роман-эпопея «От Двуглавого Орла к красному знамени» его самое масштабное произведение, рассказывающее о жизни русского общества и русской армии на протяжении более четверти века — с 1894 по 1921 год, трагический период, когда Россию потрясли три войны и три революции. Главный герой — Александр Саблин — проходит путь от корнета до генерала и гибели в застенках ЧК.

УДК 82-311.6  
ББК 84(Рос-Рус)6

ISBN 978-5-9922-2662-1

© Художественное оформление,  
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018

## ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Первое издание, 5000 экземпляров, романа «От Двуглавого Орла к красному знамени» распродано. Спрос на роман продолжается, интерес к нему не ослабевает: надо приступить ко второму изданию.

За этот год, со дня выхода первого тома, я получил несколько сот писем, касающихся романа. Эти письма показали мне, что роман затронул Русское общество, и особенно, служивших в Российской армии. Эти письма заставляют меня перед новым изданием романа вдумчиво пересмотреть его, переписать и исправить ошибки, погрешности в стиле и содержании, небрежность слога. Их очень много. Мои литературные друзья указали мне их, и с глубокою благодарностью я принимаю к сведению их указания, поправки и советы.

Приступая ко второму изданию, я считаю своим долгом объяснить читателю, почему я выпустил первое издание в столь неряшливом виде, почему я написал роман так небрежно и торопливо и, наконец, почему вообще я написал этот роман и кто в моем романе действительные лица, кто вымысел. Делаю это потому, что в письмах меня спрашивают: «Было ли такое лицо, как Саблин?» «Была ли такая история?» «Какой полк гвардейской кавалерии я описал?» «Был ли роман Алеши Карпова?» и т. д.

Я начал писать роман в обстановке исключительной, возможной только в то невероятное время, которое мы переживаем с 1917 года. Благополучно избегнув расстрела большевиками в Смольном институте, Великих Луках и Царицыне, я прибыл в Новочеркасск на другой день после похорон атамана Каледина. Десять дней, по поручению атамана Назарова, я пытался создавать в Новочеркасске казачьи дружины для обороны города, но казаки были слишком заражены нежеланием воевать, и атаман Назаров, видя бесполезность работы в Новочеркасске, отправил меня в станицу Константиновскую, создавать там защиту Дона. Я прибыл туда 11 февраля 1918 года, вечером, а ночью в ней была объявлена «советская власть», поставлен комиссар, а окружный атаман и все офицеры арестованы.

Я скрылся в доме одной богатой казачки и здесь, безвыходно, в добровольном заключении, остался ожидать событий. События не-

слись грозные. Атамана Назарова и многих генералов в Новочеркасске расстреляли, константиновский комиссар все грозил вызвать матросов и красногвардейцев, чтобы навести порядки в станице, и говорил, что новочеркасские власти его упрекают в том, что переворот в станице прошел без крови.

Бежать было некуда. На Дону меня знали в лицо во всех станицах и хуторах. Оставалось скрываться и ждать, во что развернутся события.

Каждую ночь мог быть обыск, визит красногвардейцев, опознание, арест и, вероятно, казнь. О будущем думать не приходилось. Невольно углублялся я в прошлое, ища в счастливом прошлом причин ужасного настоящего. Вся красота и мощь бывлой гвардейской службы, все величие Императорской России вставало в воспоминаниях, и мне хотелось оставить потомству описание этого прекрасного прошлого, не утаивая и недостатков его, чтобы будущие поколения знали, какова была Россия и ее армия до революции.

Писать воспоминания?.. Но для того чтобы писать воспоминания, нужны хотя короткие дневники, записки, потому что воспоминания требуют точности дат, не допускают углубления в души лиц, переживавших то или другое событие. А ничего этого у меня не было. Только повесть или роман дают ту свободу действий, где автор может, точно описывая сами события, давать на фоне их душевные переживания вымышленного героя. Передо мною лежал высочайший образец изящной литературы, многократно мною перечтенный, «Война и мир» гр. Л. Толстого, и я остановился на нем, как на идеале достижения.

Я писал не для печати. Я торопился, пока жив, пока не расстреляли меня, описать ту великую любовь, которую питали мы к Родине и Армии, ту красивую, полную символов жизнь, которую мы прожили до революции, ту доблесть Русского солдата и офицера, которую мне пришлось наблюдать на войне.

Я взял героем Саблина, лицо вымышленное. Я взял фамилию «Саблин» чисто случайно, так как эта фамилия, как нельзя больше, отвечала типу моего героя, убежденному носителю сабли. Мой герой лицо придуманное. Таких офицеров в Императорской гвардии были тысячи. Я взял лицо со многими недостатками, заурядное, чтобы показать, как страдания войны очистили его, а пытки революции довели до венца мученичества. И я знаю, что много Саблиных предстало в эти годы перед Престолом Всевышнего, очищенные от всех грехов и заблуждений прошлого.

Полк, в котором служил Саблин, — не существующий полк. Это тип полка того времени и напрасно будут по сходству местности, по неизбежному для описания подробностям формы и образа служения предполагать, что это тот или иной полк, — это полк-фантазия.

Итак, фантастический герой, фантастический полк вставлялись мною в рамки точной правды, в картину жизни прошлого, такую, какую я видал и которую хотел я зарисовать до мельчайшего штриха.

Писать приходилось исключительно по памяти. Ни источников, ни документов, ни лиц, могущих напомнить или исправить, кроме моей жены, подле не было, и естественно там, где память мне изменяла, вкрадывались ошибки. Узнал я о них лишь после напечатания первого издания.

Я написал около двухсот страниц, когда события переменялись. Возможно стало поднимать казаков против советской власти. Вместо страниц романа на столе появились номера «Константиновского вестника», прокламации, воззвания. Пришлось ехать в только что освобожденный Новочеркасск. История вынесла меня на новое место, на новую работу, и начатый роман был брошен. Было не до него.

Девять месяцев горел я в борьбе за свободу родного края и сгорел. 20 февраля 1919 года я прибыл на Зеленый Мыс подле Батума и поселился изгнанником на маленькой даче, без денег, без будущего, опять с одним ярким, красочным прошлым. Болезнь черной оспой сначала моя, потом моей жены, в суровом одиночестве, без врачей, фельдшеров, без медикаментов. Жена ходила за мной, я ходил за женой — и подле никого. Синее небо, синее море да мощный разгул тропической растительности.

Я вынул роман уже с другими целями. Он не только должен был запечатлеть пережитое, но это был последний ресурс для жизни. Пробовал работать физически, рубить дрова — сердце не выдержало.

Во время жизни в Новочеркасске я имел общение с лицами, близко знавшими Императрицу Александру Феодоровну и жизнь Царско-сельского лазарета Ее Величества. От них я узнал весь «роман Алеши Карпова». Он увлек меня, и я передал его так, как он был. Только люди, мало знающие душевную красоту великих княжон, усматривают в поцелуе Карпова что-то грязное. Он был, как был.

Я заканчивал четвертую часть романа, когда настойчивые мои просьбы о даровании мне великого счастья бороться за родину с оружием в руках были услышаны, и я, оставив рукописи у верных людей, отправился на Северо-Западный фронт в армию Юденича.

Там меня ожидали разочарования и новые впечатления. По политическим соображениям мне не было дано деятельной роли в армии Юденича, и я сделал весь поход в Гатчино и обратно без всякой работы. Я видел мертвое Гатчино, мимо меня, отчасти через меня, прошли тысячи беженцев и пленных красноармейцев, солдат и офицеров, и новый тип офицера красного знамени появился передо мною. Я три месяца читал издания большевиков, их брошюры, газеты, письма. Я получил новые впечатления и новые документы.

В марте 1920 года, эмигрантом, после ликвидации Северо-Западной армии, я прибыл в Германию.

Сначала работа, — газетная и журнальная, ради куска хлеба, потом все более и более стала увлекать меня мысль восстановить в памяти все написанное и оставленное на Дону и создать из него стройное целое, — большой роман.

Я сел за работу. Работал торопливо, лихорадочно, часто не продуманно. Сознал, что для такой работы нужно удаление от описываемых событий лет на сорок, нужна перспектива, и все-таки торопился записать все виденное и пережитое.

Я не мог молчать про масонов. В той среде, которую я описывал, слишком много разговоров было о них, много читали книг о масонстве и искали причины Российского несчастья исключительно в работе «жидов» и масонов. Раздражала пятиконечная красная звезда, сменившая Романовскую кокарду, доводило до бешенства надругательство только над христианской религией, заставляли делать выводы, быть может, неправильные. Замалчивать это было нельзя. То, что было — было.

Мне указывали, что это отразится на критике и на сбыте романа. Это меня не трогало. Я был увлечен работой, торопился сказать правду. Всю правду, и горькую, и обидную для себя, и возвышающую ту, кому я служил, кого я обожал всю жизнь и кому никогда не изменил — Российской Армию.

Думал — из горнила несчастий встанет она, чистая от грязной накипи, которая образовалась в ней, как результат крепостного права, помещичьего быта, как результат русской некультурности и... хамства.

Пусть грядущие офицеры и солдаты знают, что в керенщине и большевизме виноваты не одни Керенские и Ленины, но есть и наша доля вины, — нас, офицеров и солдат. Добрые люди помогли мне издать первый том. Он вышел в свет на гроши. Было одно желание — пустить его как можно дешевле, чтобы многие прочли, чтобы прочли и солдаты и узнали, что было у нас хорошего и что худого.

Здание появилось перед публикой в лесах, не оштукатуренное и не покрашенное.

Книга была принята критикой сурово, публикой благожелательно.

Новое издание выходит с убранными лесами. Характеристики углублены и проверены, лишнее снято, придуманное и сочиненное уничтожено, факты сверены, слог очищен.

Пусть из романа моего читатель увидит Русскую Армию под двуглавым орлом — за всеми недостатками — полную красоты, жизни и подвига, и под красными знаменами, смердящую трупным запахом растерзанных жертв и полную непередаваемой тоски, которую ничем не зальешь. Эту тоску я неизменно видел в глазах всех тех, кто вырывался на волю, кто попадал нам в плен, оттуда... из советского рая...

Ко дню выхода второго издания появились переводы романа на немецкий, французский и хорватский языки. На днях выходит он на английском языке. Ведутся переговоры об издании его на итальянском, испанском, польском, эстонском и скандинавских языках. Им заинтересовалась граница. Быть может, из него там лучше узнают о жизни и гибели великого народа и его армии, нежели из газет и рассказов очевидцев. Может быть, прочтя его там, поймут, что такое была Российская Империя и что такое русский большевизм.



## ПРОЛОГ

Если бы кто-нибудь нарочно захотел собрать людей, столь различных по положению, профессиям, понятиям, национальности, даже по цвету кожи, и посадить их всех вместе в помещении, равном двум квадратным саженьям, то вряд ли бы ему это удалось так, как сделал это случай зимой 1918 года на одной из маленьких станций на юге России.

Это было тогда, когда одуревшая, помешавшаяся Российская армия вдруг побросала позиции и кинулась куда глаза глядят — домой, не разбирая ни эшелонов, ни направлений, когда начался по всем большим городам кровавый террор и когда казалось, что только на юге можно найти спасение и сколько-нибудь сносную жизнь. На одной из больших узловых станций юга России вдруг застряла компания людей, стремившихся попасть на скором поезде в Ростов. Билеты им в Москве продали, но предупредили, что поезд может и не дойти. Донские казаки и их атаман Каледин, как его называли, не признали советской власти и идут на Москву. Где-то идут переговоры, и это может помешать движению поезда.

Действительно, поезд докатил до Воронежа, но потом вдруг повернул обратно, дошел до узловой станции, здесь остановился, и пассажирам было заявлено, что он дальше не пойдет. Новая толпа жаждущих попасть в Москву навалилась на поезд, и пассажиры из пульмановского международного вагона очутились сначала на грязной, заплеванной шелухой от семечек и страшно загаженной станции среди громадного людского стада солдат, ожидавших движения на юг, а потом в товарном вагоне.

Были среди пассажиров люди значительной энергии, они пошептались между собой, поговорили, сложились и за триста рублей — шестнадцать *буржуев* получили в полное свое распоряжение товарный и довольно чистый, правда холодный, вагон, в котором и предполагали не без некоторого удобства, на своих вещах и увязках, а главное в своей компании, доехать до места назначения.

Тут был человек лет около пятидесяти, но, видимо, многое перенесший в жизни, седой, в седых холеных усах. Он был одет в хорошее пальто с меховым воротником и такую же шапку, однако как будто бы и не по нем шитое, несколько широковатое и свободное. К нему пугливо жалась свежая блондинка, известная столичному миру певица Моргенштерн, по сцене Онегина, два совсем юных изящно одетых в штатское и тоже с чужого плеча человека — Ника Полежаев и его брат Павлик и с ними их сестра Оля, совсем еще молоденькая девушка с наивными круглыми глазами, вдумчиво и печально смотревшими кругом, инженер Арцханов с красивой болезненной дамой, которую он взял проводить от Москвы до Ростова, толстый, в рыжей бороде богатый еврей Михаил Осипович Каппельбаум и солидный немец банкир Нотбек. Была публика и попроще, победнее, так сказать, второго сорта, но все-таки своя, *буржуйская*, как презрительно отзывались о них на станции *товарищи солдаты*. Молодой офицер-кубанец, ехавший хотя и без оружия и без погон, но в черкеске с гозырями, и с ним его жена, из простых хохлушек; маленькая, но очень юркая и находчивая старушка, наконец, еще мелкий телеграфный чиновник с женою, неряшливой женщиной с ребенком, грязным и неопрятным.

Все эти люди, в сумраке вечера, при помощи станционной прислуги прицепили вагон к поезду и, помогая друг другу, втащили свои вещи и стали устраиваться на черном дощатом полу, покрытом угольными крошками. У самой стены уселся старик, посадивший подле себя певицу. Тут же сбоку расположились братья и сестра Полежаевы. Инженер Арцханов из своей шубы и каких-то пледов устроил некоторое подобие ложа для своей болезненной спутницы, а сам сел у нее в головах, — словом, каждый устроился так, что мог и лежать и сидеть, а в середине вагона и у дверей, из которых дуло, оставили свободный проход.

И только устроились, и Арцханов, приклеив свечку к краю вагонного переплета, начал раскладываться, вслух мечтая о том, как он закусит, как подле вагона собралась громадная, человек в триста, толпа солдат, тоже хотевших ехать на юг, и устроился митинг. Больше всех волновался, шумел и возбужденно кричал молодой красивый солдат с очень бледным лицом с тонкими, злыми чертами и блестящими серыми глазами. Был он хорошо одет в шинель и папаху, сдвинутую на затылок. Из-под папахи выбивался подвитой клок волос. Сухое, нервное лицо его постоянно передергивалось от волнения.

— Товарищи! — кричал он, — мы все, представители трудового народа, имеем желание ехать на юг по своим домам. А между тем что же мы видим, товарищи? Представители капитала, люди, которые имеют деньги, уже устроились по вагонам, а мы ждем на морозе и снегу. Товарищи! Правильно это или нет?

— Мы в окопах сидели, кровь проливали, а они на нашей крови наживали да брюхо набивали, — мрачно сказал пожилой, угрюмый солдат с большим мешком за плечами и с винтовкой в руках.

— Мало, что ль, кровушки нашей попили, — проговорил солдат с плоским лицом и бледно-серыми злобными глазами, глядевшими кругом с непримиримой ненавистью.

— Что церемонию с ними разводить, товарищи, — воскликнул первый говоривший, — давайте повыкидаем буржуев вон, а сами поедем.

— Чего вздор молоть, — сказал высокий и сохранивший еще выправку солдат, — они тоже люди. Там женщины есть, с детьми. Выкидать! Им тоже нужда ехать. Потеснимся, нам не в первый раз привыкать.

— Ах ты, рабская душа! — сплюнул злобный солдат. — Всех выкидать безпременно. Чего возиться-то!

— Али, товарищи, вещи повыкидывать, пусть без вешов едут, с одною котомкой, — весело крикнул молодой солдат, тоже с ружьем, и рассмеялся, широко раскрыв рот и так оскаливая крупные ровные зубы, что они и в сумраке блестели.

— Ну, вали, товарищи, чего время терять.

Толпа навалилась, дверь, которую пробовал придержать телеграфный чиновник, распахнулась, и в вагон, кто подсаживаемый товарищами, кто грудью наваливаясь в пол, стали влезать солдаты. Ни самих пассажиров, ни их вещей, однако, не тронули, но стеснили их так, что они сидели чуть не друг на друге. Толстого и коротконогого Каппельбаума усадили в углу на его чемодане, поставленном стоймя, так, что он ногами не доставал до пола. Болезненную даму заставили подняться и сесть.

— Нечего тут разлеживаться, — говорил, обходя вагон, молодой солдат.

— Разве не видите, что она больная, — сказал Арцханов.

— Я сам нездоровый, — злобно сказал солдат с блестящими серыми глазами.

Когда вагон набился так, что многим уже нельзя было сидеть и проходило стоять, сами солдаты заперли дверь и перестали пропускать больше, отстаивая и свои интересы, и интересы попавших раньше пассажиров.

Но тут оказалось, что в вагон попало двое китайцев, а третий их товарищ, притом не говорящий по-русски, остался один на станции и теперь стучал и ломился в вагон, требуя, чтобы его пропустили.

Его товарищ, уже устроившийся на полке, завопил диким голосом.

— Плопусти. Это моя товалища, вместе едем.

— Надо впустить его, — вмешалась и жена телеграфиста, — как же он один-то будет, коли языка не знает.

— Впустить или всех их к чертовой матери вышвырнуть, — сказал злобный солдат.

— Да что один человек сделает, впустить! — раздались голоса. Дверь приоткрыли, и в вагон, в который, казалось, ничего нельзя

было больше пропихнуть, протискался еще и третий китаец, сейчас же залопотавший по-китайски со своими товарищами.

Озлобление не улеглось. *Буржуи* стесняли, и вопрос о том, чтобы их выбросить, был поднят снова.

Молоденькая Оля Полежаева дрожала как в лихорадке и все говорила своему старшему брату Нике.

— Mais sortons done, retournons a Moscou, je ne puis plus rester ici<sup>1</sup>.

— Успокойся, Оля, — отвечал тихо по-русски ее брат. — Все образуется. Ведь не звери же.

— Ах, я так боюсь... боюсь, — шептала Оля.

Седой господин неподвижно сидел у стены и старался быть в тени, вне света зажженных Арцхановым и телеграфистом свечей. Каппельбаум решительно вступился за свои права. Сидя на некотором возвышении и сердито сверкая глазами из-за золотых очков, он обратился вдруг к солдатам:

— Как же это можно, товарищи, нас вышвырнуть? Да по какому праву? У меня билет I класса до самого Ростова, у меня плацкарта, я еще здесь на станции заплатил за этот вагон сорок рублей, и меня вышвырнуть?! Это какая же справедливость? Я спрошу — у вас билеты есть?

— А ты на войне воевал? В окопах сидел? А? Есть у тебя, есть? А? — вдруг напустился на него злобный солдат.

— Капиталист! — сказал молодой солдат, который смеялся на платформе.

Каппельбаум весь вскипел.

— Вы почему же знаете, что я капиталист? Вы у меня деньги считали?

— Ишь, брюха толстая, — вот те и капиталист, — смеясь сказал солдат. В разговор вмешался Арцханов. Его передергивало, он давно уже хотел образумить этих людей, но его спутница отговаривала его, уверяя, что только хуже будет.

— У вас у кого брюхо толстое, тот и капиталист, — вдруг выкрикнул он, — а я кто же, по-вашему?

— Буржуй, — презрительно сказал, сплевывая семечки, солдат со злыми серыми глазами.

— Почему? Это доказать надо, — сказал Арцханов.

— Чего там доказывать. По платью видать и так.

— Ничего не видно. Я, товарищи, на фабрике служу. Я такой же пролетарий, как и вы. Я так же, как и вы, нахожусь в зависимости от капитала. Вот вы меня, товарищи, вышвырнуть хотели. А я выборный от союза рабочих, я везу важные постановления, рабочие меня ожидают, а вы — вышвырнуть!

— Завел шарманку, — сказал злобный солдат. — Ты мандат покажи.

<sup>1</sup> Выйдем, вернемся в Москву. Я не могу больше здесь оставаться.

— Не говорите мне ты, я вам вы говорю.

— А я тебе — ты.

— Оставьте его, Михаил Иванович, — шептала болезненная дама, — умоляю вас.

Но Арцханова остановить было нелегко. Он весь кипел возмущением.

— А по какому праву? — воскликнул он.

— А по такому, что ты буржуй.

— Что же, буржуи не люди, что ли? — воскликнул Арцханов.

— Известно, не люди, — раздался голоса в разных концах вагона.

— Да чего, товарищи, с ними говорите, пора их вышвыривать, — крикнул кто-то из толпы.

— Уйдем, уйдем, Ника, — молила Оля Полежаева, кладя свою руку на руку брата. — Ведь это ужасно.

— Ничего, ничего, милая Оля, — все образуется. Это только их *maniere de parler*<sup>1</sup> — ничего они с нами не сделают.

В разговор вмешался молодой красивый солдат с клоком волос, выбившимся из-под папахи.

— Пусть едут, — покровительственно сказал он. — В пути мы разберем, кто едет по своим делам и кто отправляется, чтобы пить народную кровь, кто пособник Корнилова и Каледина и хочет отнимать землю у крестьянина и в угоду капиталистам продолжать убийственную войну.

— Правильно, товарищ, — сказал злобный солдат. — И уже ежели кто только подлинный буржуй окажется, своими руками задушу его!

— Да за что? — сказал Каппельбаум. Солдат повернул к нему озлобленное лицо.

— За что? — сплюнул он. — За гнет, за обман... Мало кровушки нашей крестьянской попили! Мало держали народ в темноте. Нет! Довольно нам гнета царизма, свергли мы Николашку, и больше никто издеваться над нами не будет. Мы сумеем своими солдатскими руками отстаять революцию.

Столько злобы и ненависти было и в словах его, и в голосе, и особенно в выражении его лица, ненавидящего до боли, до самозабвения, что в вагоне притихли.

— А вы, товарищ, воевали? — вдруг спросила маленькая старушка в платке, опять-таки ловко протиснувшись и страшно стесняя, чуть не на колени садясь к Оле Полежаевой, обращаясь угодливо к молодому рослому солдату с гвардейскими петлицами на шинели.

— Воевал, — неохотно отвечал тот.

— Где же?

— В Питербурхе, когда права народные брали.

— Ах ты боже мой, — засуетилась старушка. — Вот страсти-то!

---

<sup>1</sup> Способ выражаться.

— Ну чего страсти, — сказал солдат, — больше ведь безоружных били. И я городского штыком цапнул.

— А он что?

— Ничего. Кровь фонтаном, как из свиньи. Он в штатском был.

— В штатском? А почему же вы узнали, что он городской?

— Женщина указала. Я иду, он навстречу, а женщина одна и говорит мне: «Смотрите, товарищ, это городской!» Ну я штыком ему в грудь...

Поезд все стоял, не двигаясь. Устроившиеся солдаты начали бегать за кипятком, и рослый солдат, сохранивший выправку, предложил и буржуйам принести кипятку. На досках наверху китайцы ссорились между собой, и говоривший по-русски китаец, указывая на своего приятеля, говорил солдатам:

— Моя лаботник, а это булжуй, купеза.

— Ты откуда же, ходя? — спрашивал у него солдат с круглым веснушчатым лицом.

— Моя Шанхай. Он — Халбин. Купеза — булжуй... — И он тыкал пальцем в лежащего китайца.

— Нет, холошо! Булжуй.

Тот вскочил и стал ругаться. Спокойные лица китайцев вдруг искривились злобой, и солдаты смеясь стали стравливать их между собою.

Оля Полежаева смотрела на все, что происходило перед ней на маленьком пространстве вагона, и тоска и недоумение отражались на ее юном лице. Почему это так? Откуда эта страшная ненависть одних людей к другим, не все ли они братья во Христе, не все ли одинаково Русские, страдающие русские люди? Но почему солдаты так ненавидят их всех и откуда, откуда явилось это слово «буржуй»? Были крестьяне, дворяне, мещане, и как-то уживались между собой. Может быть, и много было несправедливого в их отношениях, ненормального и жестокого, но злобы не было... Ее брат Ника рассказывал ей, как трогательно на войне его денщик заботился о нем и как нянька ходил за ним. В бою солдаты прикрывали своим телом офицеров, чтобы спасти от удара врага... Она, Оля Полежаева, каждый день ходила в лазарет и писала письма и читала солдатам книги, приносила им белый хлеб, фрукты, и как ее любили! Неужели все, что она видала за свои девятнадцать лет, — была ложь, а правда в этом новом делении людей на два ненавидящих друг друга класса буржуев и пролетариев, неужели правда в этом слепом преследовании капиталистов?

Вагон затихал. Кое-кто, свернувшись на своих кулечках и укладках, дремал. Солдат со злыми глазами сидел в двух шагах от Оли и смотрел вдаль, думая какую-то свою угрюмую думу. Против него сидел тот, который хвастался тем, что он убил городского. Китайцы еще переругивались вполголоса. Ника и Павлик, прижавшись друг к другу, дремали.

Оля посмотрела на них, потом на солдата, на старика, сидевшего рядом с певицей, на толстого Капельбаума, застывшего в позе буд-

дийского бога, и вдруг странная мысль мелькнула у нее в голове и стала развиваться и вырастать.

«Вот этот, — думала она, глядя на солдата, убившего городского, — этот все может. И тот, что так злобно смотрит вдаль, тоже везде найдется и везде справится. Брось его на необитаемую землю — он сумеет там первобытными орудиями, которые сам же смастерит, обработать землю, собрать урожай, смолоть муку и спечь хлеба. Он умеет убить животное, содрать с него шкуру, очистить и приготовить пищу. Он выкопает землянку, построит жилище, найдет топливо — он проживет. Это та страшная рабочая сила, которая кирпич за кирпичом терпеливо складывала храмы и дворцы, которая укладывала рельсы, из полос железа и стали ковала паровозы, которая пахала, сеяла, молотила, молола, пекла, которая кормила и согревала весь мир...

Найдется ли она, или Павлик, или Ника, или вот хотя бы этот господин с благородной осанкой старого военного и маленькими породистыми руками, если их лишить всякой помощи со стороны?» Оля вспомнила, как Ника, убив зайца на охоте, нес его к кухарке, так как ни выпотрошить, ни ободрать его он уже не мог и не умел... «Сможет Ника построить дом, приготовить пряжу, ткать материю и сшить себе платье?»

Она рассмеялась в душе от этой мысли. «Ни он, ни она, ни этот важный господин, что так умно смотрит вдаль печальными серыми глазами, не могут и не знают ничего. Они — паразиты в этом мире. Они — буржуи. И все то, что работает и может жить самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи, ненавидит их за это и считает их эксплуататорами, считает кровопийцами. Надо стать как они. Надо опроститься — самой убирать свою постель, стирать белье, смотреть за полем, огородом и скотиной, готовить обед, обшивая себя и тех, кто работает в поле, работать целый день не покладая рук, как то делают крестьянки. Господи! да и дня тогда не хватит. А когда же читать, изучать языки, когда же думать, гулять, любоваться красотой Божьего мира и претворять эту красоту в песни, стихи, думы, музыку, краски картин и линии статуй и зданий? Когда же изучать и отыскивать божество и повиноваться его законам? Тогда, значит, весь мир должен пасть до уровня этих людей и обратиться только в одну притупляющую работу для добычи себе пищи — ни поэзии, ни искусства, ни религии, ни красоты... Красоты мира не будет...»

Оля смотрела на лица злобного солдата и того рослого парня, который хвастался тем, что заколол штыком городского. Их лица были красивы, но и топорно грубы. Они гармонировали с грубыми солдатскими шинелями, но представила их у себя в гостиной, в офицерском платье или в изящном штатском костюме и почувствовала, что это невозможно. Картинами каменного века, первобытными людьми веяло от этих резких очертаний лиц, от больших челюстей, здоровых крупных зубов, черепов, нависших прочной лобной костью над глазами

впадинами, и густых жестких волос. Жизнь и тела их приспособила для работы, для тяжелого физического труда.

Ей вспомнилась одна сцена из ее раннего детства. Оле четыре года. Вырвавшись от няньки, она убежала на двор и уселась рядом с четырехлетней малюткой, дочерью кухарки Катей. Кухарка на дворе рубила головы курам. Положит бьющуюся курицу головой на ступени крыльца, вытянет ей шею и ударит острой тяпкой. Куриная головка с алым гребешком и черными окаймленными желтым глазами падает на песок, и несколько секунд мигают тусклые глаза. А курица, пущенная кухаркой, вдруг вскакивает и бежит без головы по двору, странно взмахивая крыльями. Из шеи течет кровь. Курица падает и затихает. Катя в восторге хлопает в ладоши и радостно смеется. Она поднимает головки, смотрит в их мигающие глаза. Ее пальцы в крови... Оле делается дурно, и со страшным криком в нервном припадке она падает на песок. И долго потом ее мучило воспоминание об этой резне кур... И сейчас ей тяжело... Кровь для них одно — для нее и ей подобных совсем другое.

С каким восторгом рассказывал вот тот молодой солдат, как он штыком заколол городского, и как у него кровь брызнула, как из свины. Сочувственно его слушала старушка, и эта худая и болезненная жена телеграфиста с неопытным ребенком смотрела на него как на героя. И жена кубанского офицера устремила на него свои темные глаза с чувством не ужаса, но восхищения.

«Для нас он убийца, и мы сторонимся от него. Для них — это герой. Герой революции».

Вспомнила и еще сцену — сцену из такого недавнего прошлого. Оля шла по Фонтанке. На мосту и по набережной черной стеной толпился народ. Из толпы слышались выстрелы. На большой льдине, окруженной полыньями, был человек. По нему и стрелял какой-то солдат из толпы. Человек сначала бегал, смотрел на воду, но броситься в паром клубящуюся темную пучину не рискнул. Он стал на колени и молитвенно сложил руки, обратившись к толпе.

— За что его? — раздавались голоса.

— А кошелек у солдата украл.

— Так ему и надо.

— Эх солдат, и стрелок-то плохой

— Да не солдат это, а милицкий.

Пули щелкали подле, и видно было, как они взрывали снег, а человек стоял, молился толпе и надеялся. Но вот он пошатнулся.

— А, попал, попал, — прогудело одобрительно в толпе.

Еще два выстрела — и человек упал и вытянулся на снегу. Выстрелы прекратились, толпа начала расходиться. Никто не возмутился, никто не осудил и не проклял убийцу. Это было в те дни, когда красные знамена с надписями «свобода, равенство и братство» гордо реяли над городом и совершалась воспеваемая газетами великая бескровная революция!



Оля два дня не могла успокоиться. Все мерещился ей этот несчастный вор, на коленях стоящий перед толпой и молящий о пощаде в смертной муке.

Поезд наконец тронулся. Скрипя и звеня цепями, наталкиваясь буферами друг на друга, подались вагоны сначала назад, остановились, дернулись вперед и покатались, отсчитывая стыки рельсов и вздрагивая на стрелках.

Поезд шел и останавливался. Почти все в вагоне спали, не спали седой господин и певица, не спал и тот молодой возбужденный солдат со злыми чертами лица. Не спала Оля.

Она думала. Она пришла уже в своих думах к тому, что, может быть, они правы. Они, трудящиеся над землей, они, живущие в маленьких тесных избушках, где спертый дурной воздух, они, голодающие и мерзнущие. «Мир и все его богатства принадлежат им, и буржуи — словом, все те, кто не умеет сам работать и добывать все своими руками, должны или стать такими, как они, или уйти в иной мир, но на земле не место тунеядцам...» Придя к этой мысли, Оля почувствовала страшную жажду жизни. «Ну, хорошо, — говорила она, — я буду работать, как они, я буду прачкой, я стану садить и полоть огороды...»

С этою мыслью она задремала. Но сейчас же вернулась в явь от новой яркой мысли.

«Да ведь тогда, — думала Оля, и мысли точно торопились в ее мозгу, стремясь что-то доказать ей важное и убедительное, — тогда, когда все станут, как они, и не будет нас, погибнет красота. Тогда погибнет вера в Бога, погибнет любовь. Тогда исчезнет сознание, что позволено и что не позволено. Тогда убийство не будет грехом и сильные и дерзкие станут уничтожать слабых. Слабые станут раболепствовать перед сильными, угождать тем, кто свирепее осуществляет свое право жизни. Тогда все обратится в сплошную резню. Христос с Его кротким учением уйдет из нашего мира, с ним уйдут красота и прощение, и в дикой свалке погибнут люди. Они, как хищные звери, разбегутся по пещерам и будут жить, боясь встретиться с себе подобными.

Так значит, — думала Оля, — и мы нужны. Мы не тунеядцы. Тем, что с нас сняты непосредственные заботы о хлебе насущном, мы создаем красоту мира. Мы удерживаем этих людей от преступлений — одних страхом наказания, других — силою своей души. Мы нужны миру. И мы — Растрелли, Воронихин, Стефенсон, Уатт, Яблочков, Морзе — создали прекрасные дворцы и соборы, паровозы и электрический свет, придумали телеграф, мы, а не они. Даже такие, как я, светские барышни, ничего не умеющие, но нарядные, веселые, красиво одетые, нужны, потому что в нас влюбляются, нам пишут стихи, для нас создают картины, за нас умирают и трудятся, и мы, возбуждая возлюбленных, двигаем мир вперед!»

На этой радостной и горделивой мысли Оля успокоилась. Она опустила голову на плечо крепко спавшего старшего брата и заснула. Поезд мерно стучал колесами и убаюкивал ее.

Проснулась она от громкого крика и дуновения холодного ветра. Поезд стоял, но стоял не у станции, а вероятно, случилось что-либо с паровозом, и он остановился среди леса. Было уже утро. Солдаты для света и для воздуха, который ночью был очень тяжелым, отодвинули наполовину дверь, и через нее был виден густой, голый лиственный лес, талый снег, слышалась частая капель воды, упавшей с ветвей и шумевшей по старой листве, местами освободившейся от снега.

Кто-то резко, хриплым голосом, крикнул в сторону паровоза: «Гаврила, крути!», и несколько человек грубо засмеялись. Жена телеграфиста, уже не спавшая и возившаяся со своим ребенком, подобострастно засмеялась и воскликнула:

— Ах уже и солдатики, солдатики! Ну придумают же, право! И с чего-та они всех машинистов Гаврилами прозвали?

Солдаты хмуро потягивались и зевали. Седой господин и певица сидели в прежних позах и, видно, всю ночь не спали. Не спал и все так же стоял и молодой солдат. Теперь он смотрел острым, внимательным взглядом на седого господина. Оля невольно посмотрела на того и другого, и вдруг странная вещь поразила ее. Между изящным, с благородной осанкой, господином и этим солдатом с ухватками петроградского хулигана было большое сходство. У обоих были маленькие породистые, точеные руки, глубокие серые глаза, одинаковый изгиб бровей, длинные ресницы, тонкие носы с чуть раздутыми страстными ноздрями, полные чувственные губы и одинаковые подбородки с маленькой ямочкой посередине.

Сын и отец. Порочный, блудный сын и благородный отец вдруг оказались друг против друга. Певица Моргенштерн, казалось, тоже заметила это сходство. Она с тоскою смотрела то на того, то на другого и ждала чего-то.

Молодой солдат внимательно глядывался в господина, чуть освещенного утренним светом, и точно припоминал что-то. Он подозвал из глубины вагона другого солдата, маленького, кряжистого и немолодого, со следами сорванных георгиевских крестов на шинели, и показал ему на господина, оба долго смотрели и тихо совещались.

Седой господин все так же глядел в сторону, казалось, не обращая ни на кого внимания, но острый взгляд его становился тоскливее, он глубже уходил в воротник своего пальто, и лицо его, гладко выбритое, бледнело и становилось серым.

Кряжистый солдат вышел из вагона.

Поезд все стоял на пути, и видно было, что сдерживаемое волнение господина увеличивалось. Оно незаметно передавалось певице и Оле Полежаевой. Все ждали чего-то.

Прошло минут пять. Солдаты входили и выходили из вагона. Вдруг послышался гул голосов, и к вагону придвинулась толпа солдат, человек в пятьдесят или более, как видно приведенная посланным. Многие были с ружьями.

В ту же минуту молодой солдат широко шагнул через лежащих и сидевших, сильно толкнув Арцханова, и, глядя в упор в глаза господину, твердо и ясно спросил:

— Вы будете не генерал Саблин?

Господин молчал. Он внимательно и без страха смотрел на спрашивавшего, но рука его быстро опустилась в карман.

— Я вас спрашиваю, — вскрикнул молодой, гневно протягивая руку к господину.

— Да, я генерал Саблин, — спокойно ответил тот при гробовом молчании всего вагона и стоявшей внизу на путях солдатской толпы. — Что вам от меня угодно?

Стало так тихо, что Оле казалось, что она слышит биение своего сердца. Молодой солдат круто повернулся к дверям вагона, у которых были солдаты, и сказал полным ненависти голосом:

— Товарищи! Это генерал Саблин, который уложил не одну тысячу солдат на этой войне! Это генерал, который за сорок тысяч продал свою позицию немцам и из-за которого расстреляли десятки лучших борцов за революцию. Я узнал его. Он бежит теперь к Корнилову и Каледину, чтобы бороться против народа и завоеваний революции! Товарищи! Мы не допустим до этого!

— Ишь ты! — с неистовой злобой прошипел солдат со злыми глазами, споривший накануне вечером с Каппельбаумом, и схватился за ружье, лежавшее над дверью.

Генерал Саблин вдруг неожиданно, упругим движением вскочил со своего места, выхватил револьвер и бросился к дверям вагона в самую толпу солдат...

.....

Прежде чем продолжать описание этого случая, попробуем посмотреть и разобраться в том, как могло произойти то, что одна часть Русской армии вдруг стала в такое непримиримое отношение к другой, как могли солдаты, еще так недавно слепо повиновавшиеся офицерам, готовые умереть за них и порою искренно их любившие, вдруг до такой степени их возненавидеть.

Но для этого нам придется отвернуть несколько листов пережитого прошлого и узнать жизнь всех этих людей до самых ее мелочей. Тогда мы увидим, что все, что случилось, было не неожиданно и случайно, но медленно и методично подготавливалось долгие годы и долгим рядом ошибок, которых никто не хотел ни замечать, ни исправлять.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

У Павла Ивановича Гриценко, командира 2-го эскадрона, бал, и, по юнкерскому выражению, с *женщинами*. На его холостую квартиру приглашены офицеры полка, кое-кто из его приятелей других полков и две восходящие звездочки Петербургского полусвета: Катерина Филипповна Фишер и Владислава Игнатьевна Панкратова — Китти и Владя. Они родные сестры, но живут под разными фамилиями для удобства своей профессии. Обе молодые — Китти 22 года, а Владе едва минуло 19, красивые, нарядно одетые, рослые, полные. Китти белокурая, светлая, золотоволосая, Владя — темная шатенка, они начали с того, что были натурщицами, а потом вошли в петербургский полусвет и пошли по рукам гвардейской молодежи. Они кончили гимназию, недурно болтали по-французски, грамотно писали записки, быстро познали толк в вине и лошадях и были украшением свободных холостых пирушек.

В Петербурге ранняя весна. Ночь светлая, томная. На бульваре пахнет клейкими почками начинающих распускаться тополей. Небо белесое, уже загорающееся на востоке за городом бледной зарей, улицы пустынные и тихие, от Невы пахнет водою, каменным углем, и изредка доносятся гудки пароходов. У подъезда офицерского флигеля стоит наемная хорошая карета — это для Китти и Влади, да на огни в квартире съехалось несколько ночных извозчиков.

В комнатах Гриценки сильно накурено и душно. Хозяин настежь раскрыл окна, и оттуда доносится говор людей, женский смех, обрывки пения и игры на пианино. Ранний ужин уже окончен. На большом богато сервированном дорогим семейным серебром столе в беспорядке стоят тарелки, блюдо с ободранным копченым сигом, большой окорок ветчины, холодная телятина, лососина под провансалем, тут же сладкие пироги, конфеты, фрукты, земляника и масса бутылок изпод шампанского и с шампанским, коньяк и ликеры. Стол залит вином. Денщик Гриценки и два солдата из собрания не успевают прибирать за гостями. Кто сидит за столом, кто бродит по комнате, кто устроился у окна.

Гриценко, молодой ротмистр, с черными как смоль чуть вьющимися волосами, большими цыганскими навывкате глазами, смуглым лицом с длинными вьющимися кольцом усами, в красной шелковой рубашке под расстегнутым вицмундиром, в длинных рейтузах и в маленьких лакированных сапогах, забрался с ногами на ковровую софу и, небрежно развалясь, бренчит на гитаре. Китти в бальном голубом шелковом платье с большими буфами у плеча и Владя в таком же розовом платье полулежат рядом. Владя сильно пьяна и чувствует себя нехорошо, Китти только разошлась, мурлычет вполголоса песенки и большими голубыми глазами весело осматривает собравшихся гостей.

Все офицеры. Всех она более или менее знает. Пожилой маленький полковник, Степан Алексеевич Воробьев, постоянный посетитель всех холостых пирушек, страстный картежник, с коричневым нездоровым прокуренным лицом, с густыми русыми волосами и длинными усами, ходит взад и вперед по комнате в стоптанных мягких сапогах, на которые буфами упадают широкие серо-синие рейтузы, и в длинном наглухо застегнутом сюртуке. Он мечтает о картах и все поглядывает на растворенные двери в кабинете хозяина, где уже расставлены карточные столы и лежат нераспечатанные колоды.

Штабс-ротмистр, Иван Сергеевич Мацнев, мужчина лет тридцати, некрасивый, лысый, без усов и бороды, слывающий циником и философом, любитель юношей, с лицейским значком на вицмундире, откинул портьеру и мечтательно глядит вдаль на пустынный бульвар и бледное предраассветное небо.

Сотник Маноцков, гвардейского казачьего полка, ввязался в спор о качествах своей лошади и, куря папиросу за папиросой, сидит в углу стола за большим бокалом шампанского, окруженный молодежью полка.

Всего человек четырнадцать было в гостях у Гриценки.

Наступал такой момент, когда нужно что-нибудь придумать или разъезжаться. Воробьев считал, что пора приступить к главному, для чего он пришел, — к картам. Отпустить дам, снабдить их кем-либо из молодежи и засесть за макао или паровоз.

Молодежи хотелось еще поболтать, попеть, покуражиться. Вина было выпито много, но все были более или менее трезвы. Пьянее других был сам хозяин. Он как-то очень скоро хмелел, но, охмелевши, мог пить сколько угодно, все оставаясь в одном градусе разгульного, безшабашного веселья, шумных песен, широких жестов и любви ко всему человечеству.

Он бросил гитару, вскочил на свои упругие тонкие ноги и крикнул веселым голосом, звонко пронесшимся по всей квартире:

— Захар! Вина!

Захар, денщик Гриценки, из молодых солдат, рослый красивый парень в снежно-белой рубашке, писаный русский молодец, подскочил к нему с бутылкой красного вина и большим стаканом.

Звонкая оплеуха раздалась по комнате и заставила всех вздрогнуть и обернуться. Гриценко ударил солдата по лицу.

— С-скотина! Сколько времени у меня служишь и не можешь различить что как называется! — кричал Гриценко. — Я чего требовал?

— Вина, ваше высокоблагородие, — растерянно отвечал побледневший солдат.

— А ты, скотина, принес пойла! Вино — это шампанское, дурак!..

— Павел Иванович, — вдруг раздался из угла звонкий, молодой, полный искреннего возмущения, голос, — я попрошу вас не бить солдата! Это мерзко и... и недостойно дворянина и офицера.

Из угла вышел молодой стройный юноша. Его розовое лицо с чуть пробивающимися, почти невидными усами горело от негодования. Большие темно-серые глаза были полны гнева. Застегнутый на все пуговицы своего вицмундира, изящный, в узких, по тогдашней моде, рейтузах, он стал против Гриценки, заслоня собой окончательно растерявшегося денщика.

— Корнет Саблин! Вы з-забыв-вааетесь! Вы с ума сошли. Корнет Саб-лин, я п-по-п-прошу вас н-не смей мне делать з-замечаний! — заикаясь от гнева, воскликнул Гриценко, становясь багрово-красным.

— Что такое? Что такое? Господа, — заговорил быстро Степан Алексеевич Воробьев, неслышными мягкими шагами подкатываясь к Саблину.

— Корнет Саблин! Вы не правы! Вы не имеете права делать замечаний своему эскадронному командиру. Ротмистр Гриценко, вы слишком погорячились, ударив денщика. Да... Да... Но предмета ссоры нет. Вы сами виноваты, ротмистр... И, господа!.. Мир... Ну... мир... во имя чести полка! А... Руки друг другу... Н-ну!

— Я не могу, — тихо, но твердо выговорил Саблин. — Если бы он меня оскорбил. Он оскорбил солдата. Он себя оскорбил.

Но Гриценко был отходчив.

— Захар, поди сюда! — сказал он. — Я тебя побил, любя побил, понял? я тебя и поцелую — любя поцелую.

И, взяв обеими руками за щеки Захара, он нагнул его лицо к своему и сочными губами впился в крепкие губы солдата.

Потом, отодвинув его лицо от своего, он погрозил ему пальцем и укоризненно сказал:

— Эх, Захар, Захар! Ввел ты меня таки во искушение. Помни: вино только шампанское, прочее вино — пойло, ведь учил же я тебя? А? Учил? А чай?

— Кишкоймой, ваше высокоблагородие, — быстро ответил солдат.

— Ну вот видишь... — Гриценко снова сочно поцеловал солдата и, слегка толкнувши, сказал, — ступай.

Но едва тот повернулся, как он крикнул:

— Песенников! Захар, да ж-живо... Моих!

— Эх, Павел Иванович, — сказал Воробьев, — четыре часа утра. Люди спят еще, а там на уборку надо. Ну какие песенники!

Гриценко улыбался широкой радостной улыбкой.

— Х-хочу! Ж-желаю... Хочу показать пижону, что люди меня любят и что это ничего, — он сделал жест рукой. — Они на это не обижаются. Лишь бы любили их и не помыкали. Так-то, милый Степочка. И не препятствуй мне. Две песни... Понял? Две песни. И он споеет нам — сей юный, — он захохотал, — Лев Толстой!

Саблин пожал плечами и отошел. Сердиться на Гриценку он не мог.

## II

В ожидании песенников карты расстроились. Маноцков сердито говорил корнету Ротбеку, одного выпуска с Саблиным, и поручику Бахметеву, заядлому спортсмену:

— Я вас уверяю, мой Фигаро прыгнет.

— Через стул? — спрашивал Ротбек.

— Через стул.

— Обнесет, — убежденно говорил Бахметев.

— Никогда. Все дело в дрессировке. Надо, чтобы лошадь поняла. Или хотите, через веревку, на которой я повешу носовой платок.

— Ну это легче. Но через стул?

— Хотите пари? Завтра у вас в манеже. Я приеду.

Степочка ходил мягкими шагами вдоль стола и недовольно поглядывал на дам. Они не догадались вовремя уехать и теперь задерживали игру в карты. При них не хотели играть.

— Вы бы спели нам что-нибудь, Катерина Филипповна, — сказал он. — А? Что так-то сидеть?

— И то под гитару? — подсаживаясь к дамам, сказал Гриценко. — Ну!

— Ну, — сказал и Степочка, который и сам недурно певал цыганские романсы тоненьким, жидким, но верным тенором.

Китти встряхнулась. Разрумянившаяся, молодая, чуть начинающая полнеть, она была очень хороша.

— Хотите «Письмецо», — сказала она.

— Идет! — воскликнул Гриценко и, раскачиваясь и помахивая декой гитары, стал брать аккорды.

Жду я весточки от дру-у-га,  
Все в слезах мое лицо,  
Напиши же, друг мой ми-ильий,  
Поскорей мне письмецо! —

пропела Китти, и вдруг с разных концов столовой настроившийся хор дружно подхватил вторые строки куплета.

— Отлично, браво! браво, — крикнул Степочка.

Гриценко фальцетом, без голоса, но музыкально и верно, сверкая цыганскими глазами, завел второй куплет.

Вольтижируя в манеже,  
Я разбил .....и хо-хо-хо!  
Напиши же, друг мой милый,  
Поскорей мне письмоце.

Все гости громко хохотали, Китти и Владя веселее всех.

— Нет, Саблина заставьте петь, юнкерскую, — закричал румяный Ротбек и потащил Саблина к пианино, стоявшему в углу.

Саблин взял несколько аккордов. Офицеры подошли к пианино. Маноцков с Бахметевым остались в стороне, они все спорили.

— Ты говоришь, минута двенадцать. Никогда.

— Это дерби! — кипятился Маноцков.

— Дерби! — минута восемь. Ну, хочешь пари.

Саблин взял браваурный аккорд, лицо его разгорелось и стало шаловливым. Бойко играя веселый марш, он только сказал первое слово, как все дружно грянули:

Цирг поехал за границу  
Обозреть Евро-пу!  
А жена, чтоб не скучать,  
Стала молодежь цукать!..  
Цирга, Цирга, Цирга, Цирг, Цирг, Цирг...

Юнкерская песня про училищного офицера Цирга, полная циничных намеков, весело гремела, и звонкий голос Китти выделялся среди мужских голосов в самых рискованных местах.

### III

Пришли песенники. Их было 25 человек, и с ними толстый заслуженный вахмистр. Солдаты были в свежих белых рубахах, подпоясанных лосиными ремнями, в чистых рейтузах и ярко начищенных сапогах со шпорами. Вахмистр был в мундире, расшитом золотыми и серебряными шевронами, с медалями на груди и на шее и с цепочкой из ружей за отличную стрельбу. Они принесли с собою аромат тополей, утра и весны и запах крепкой сапожной смазки.

Степочка поздоровался с ними. Запевало — молодой солдат, эскадронный писарь, невысокого роста, худощавый, с интеллигентным лицом — вышел вперед, заложил руки за спину и выставил ногу. У него был очень хороший тенор, он был музыкально образован и знал себе цену. Злыми глазами он оглянул всю столовую, вино и женщин и зашел звонким, за душу берущим голосом:



Ах, братцы, лето настает  
Со своими лагерями.  
Великий князь нас поведет,  
И господа все с нами!

Он взмахнул рукой, обернулся к хору, и хор чуть слышно мягкими аккордами проговорил:

Ура! Наш славный полк, ура!  
Великий князь нас поведет,  
И господа все с нами...

— Нет, — размякая от песни и от горделивого сознания, что это *его* песенники, *его* эскадрон, сказал Гриценко, — вы послушайте, как наш свирепый Саша Саблин с Любовиным дуэтом поет. Опера.

— Спойте, Саблин!

— Саша, спой! — раздался голоса.

Саблин отошел от пианино и стал перед песенниками. Хороший музыкант, привыкший в корпусе и в училище петь в хоре, Саблин теперь увлекался запевалой Любовиным и его тенором и все мечтал отдать его в консерваторию и на сцену. Любовин учил его новым песням, таким, каких Саблин не знал.

— Давай, Любовин, твою, — сказал Саблин.

— Слушаю.

Два голоса слились в братском объятии и пошли рассказывать кольцовскую «Песнь бобыля».

Ни кола, ни двора,  
Зипун — весь пожиток,  
Век живи не тужи —  
Умрешь — не убыток.

Китти, сидя рядом со Степочкой, пожималась, поводя плечами, щурила свои синие глаза на Саблина, замороженная его красотой, молодостью и силой.

— Степочка, — шептала она Воробьеву, — неужели правда, что Саблин — никогда? ни разу?

— Ну да, конечно, — говорил Степочка, разглядывая кольца на руке у Китти и перебирая ее мягкие горячие пальцы.

— Нет, этакая прелесть! Совсем даже не знает? Не видал?

— Уверяю вас.

— Этакий восторг! Степочка, милый. Устройте мне его. Устройте, чтобы я была... первая... Хорошо?

— А хочется? — улыбаясь спрашивал Воробьев.

— Ах... И даже — очень!

— Ну, ладно!

— Вот милый!

— Тише вы.

Мужику, богачу  
И с казной не спится, —

пели Саблин с Любовиным.

Боббль гол как сокол,  
Поет-веселится!..

Степочке надоели эти песни. Шесть часов утра уже. Яркое солнце безстыдно глядится в закрытые окна, и слышен благовест.

— Надо кончать, Павел Иванович, и на уборку, — сказал он.

— Ну еще одну... Мою! — сказал Гриценко.

— Командирскую, — приказал вахмистр. Хор разом весело грянул:

Шел солдат с похода,  
Зашел солдат в кабак,  
Сел солдат на лавку,  
Закуривал табак!..

Широко лилась любимая Гриценки.

Наш полк вперед несется,  
Всех рубит наповал.  
Выстрел раздается,  
И командир наш пал!..

Песенники кончили песню. Гриценко встал и торжественно перецеловался с солдатами. Слезы блистали у него на глазах. Он искренно любил в эту минуту их всех. Он достал двадцать пять рублей и дал их вахмистру.

— Спасибо, братцы, — тронутым голосом сказал он.

— Рады стараться, ваше высокоблагородие, — крикнули песенники.

— Ну и по домам. Утренние занятия я отменяю, вахмистр, — сказал Гриценко.

Песенники стали выходить. Поднялись и дамы.

— Корнет Саблин, — повелительно сказал Степочка, — проводите барышень домой.

— Но... господин полковник, — смущенно проговорил Саблин, — я...

— Никаких «но», дорогой мой. Вы один не играете в карты и вполне трезвы. Ну... Марш!

Саблин развел руками и, неловко подходя к дамам, сказал:

— Я к вашим услугам...

#### IV

В карете они молчали. Было душно, пахло духами и вином. Владя сидела бледная, ее укачивало, она едва держалась. Китти была пьяна от вина, но еще более ее пьянила близость молодого офицера. Его бла-

городный поступок, его пение, молодость и красота — все туманило ее, и она до боли хотела его. Говорить она не решалась. Она боялась испугать его, робкого и застенчивого, и в голове создавала план, как победить его.

Ехать было недалеко. На Офицерской, у высокого, еще спавшего дома остановились. Дворник открыл калитку ворот. Тут же под воротами был и подъезд. Китти позвонила. Пожилая, солидная горничная в чепце и переднике в кружевах открыла дверь. Лицо ее было спокойное, бесстрастное.

Саблин стал прощаться.

— Куда же вы, милый человек, — сказала ласково Китти. — Нет. Прошу вас, зайдите ко мне на минуту. Мне надо написать два слова Гриценке. Ну, пожалуйста!

Неловко сняв пальто, с фуражкой в руках, Саблин вошел в гостиную. Шторы бледно-желтого цвета были опущены, но солнце лило яркие лучи, и во всей комнате стоял приятный ровный свет. Большое зеркало в золоченой раме было между окон. Внизу в золотой же корзине были гиацинты, и их пряным запахом была напоена вся квартира. Другая большая корзинка с гиацинтами была поставлена у окна на золоченой жардиньерке. Вдоль одной из стен стоял большой рояль, накрытый шелковым покрывалом бледно-сиреневого цвета с японской вышивкой. Над роялем висел портрет Китти, неискусно сделанный пастелью начинающим художником. На рояле были фотографии юнкеров и очень молодых офицеров. На противоположной стене висело зеркало и полочки, уставленные фарфоровыми и бронзовыми безделушками. У стены, противоположной роялю, был круглый стол со скатертью, на нем высокая лампа с шелковым абажуром, и под ней альбомы. Подле стола, на ковре, были диван и кресла, такие же кресла стояли и в простенках. От всего веяло дешевой рыночной роскошью, сквозь которую сквозил и некоторый вкус хозяйки. Мебель, занавески и покрывало были выдержаны в одинаковых тонах — бледно-сиреневых с золотом. Такой же был ковер, такая же и лампа. В углу, на камине, в больших рамках из мореного дуба на почетном отдельном месте были большие фотографические портреты Государя Императора и Императрицы. Три двери вели из гостиной. Одна в маленькую темную прихожую, другая направо в комнату Влади и третья налево в комнату Китти. Эта дверь была занавешена японской портьерой из камыша и бус.

Владя не прощаясь быстро прошла в свою комнату и сердито хлопнула дверь. Китти ушла к себе, но двери не закрыла. Саблин остался стоять посередине гостиной. Чувствовал он себя преглупо. Хотел уйти, но неловко было уйти не попрощавшись, тайком, как вор.

Китти и не думала писать письма. Было слышно, как она снимала платье, ходила по комнате, мурлыкая песенку, сняла башмаки; скрипел корсет. Она подходила к дверям, и сквозь камыш и бусы Саблин в

полутьме спальни видел стройную белую фигуру в соблазнительном белье. Запах гиацинтов туманил голову и наполнял воздух чистотою и свежестью.

Так прошло минут пятнадцать. Слышно было, как в комнате лилась вода, Китти приводила свой туалет в порядок. Наконец, тихо ступая по паркету и ковру, она вышла в гостиную. Золотистые волосы были сложены в красивую греческую прическу, и по-гречески же, как видал Саблин на картинах Бакаловича и Семирадского, были туго перевязаны голубыми лентами. Лицо, несмотря на бессонную ночь, было свежо и юно. Подрисованные глаза блестели из-под казавшихся громадными от туши ресниц. На ее плечи был накинут японский лиловый шелковый халатик, нежно облегавший ее тело. Она мягко, по-кошачьи, мелко шагая босыми ногами, подошла к зеркалу и стала, горделиво оглядывая себя через плечо в зеркало, в кокетливую позу натурщицы.

— Ну что, не долго? — сказала она словами, а глаза ее говорили: «ну посмотри, какова я. Ну что же? Я вся твоя! Бери, сжимай меня! Снеси на своих сильных молодых руках в спальню... Можно. Позволено».

Саблин молчал. Он тяжело дышал. Кровь то прилиwała к его лицу, то отлиwała. Туман застилал глаза. Но более всего он был сконфужен и смущен. Он не знал куда девать руки и беспомощно мял фуражку.

Вдруг лиловый халатик, державшийся на одной пуговице, мягко соскользнул с плеча и упал вокруг ног Китти, и она стала на нем, обнаженная. Солнце сквозь шторы бросало на нее теплый прозрачный свет, и она стояла перед юношей дивно прекрасная в своей наготе с безупречными линиями ног и спины. Чуть улыбаясь, смотрела она на него и медленно поворачивалась перед зеркалом, видная вся.

Саблин тяжело вздохнул, но не тронулся с места. Китти казалась ему бесконечно красивой, казалась богиней, и в этот миг он забыл, кто она.

Китти ждала. Прошла томительная минута. Вдруг жгучий стыд охватил ее. Она закрыла лицо руками. Взглянула еще раз из-под пальцев на Саблина и, быстро подобрав халатик и кое-как закрываясь им, убежала к себе в спальню, захлопнула дверь и два раза шелкнула ключом.

Не страсть, но стыд и смущение прочитала она в чистом взоре прекрасного юноши и в эту минуту почувствовала, что она его любит — слишком любит, чтобы сразу отдалась! И если бы теперь Саблин ломился к ней в двери, стучал, умолял и просил его впустить, она бы не пустила его ни за что. Ей было мучительно стыдно. Уткнувшись лицом в подушки, она стыдливо натягивала на себя до самых ушей одеяло и тихо плакала от горя, смешанного с ликующим восторгом.

Саблин постоял еще секунду, как будто о чем-то раздумывая. Прислушался. Из комнаты Влади неслись задушенные стоны. Владю тошнило. В комнате Китти была полная тишина. Саблин прошел в

прихожую. Там не было никого. Он надел на себя пальто, тихо отложил крюк с двери, открыл американский замок и быстро вышел на лестницу.

## V

Кровь стучала ему в виски. Он чувствовал себя сильным, бодрым. Спать не хотелось. Земля горела у него под ногами, он шел пешком, быстрыми шагами, мягко позванивая шпорами. Запах гиацинтов и образ обнаженной женщины его преследовали. Теперь, оставшись один, он был смел с нею. Ему хотелось обнять и схватить ее, но он не мог вернуться. Он представлял себе темную прихожую, горничную со строгим лицом, вешалку и понимал, что ничего не выйдет, что он сгорит со стыда в этой тихой гостиной, полной утреннего затуманенного света, лиловых тонов и лилового запаха гиацинтов.

Он вбирал полную грудь утренний свежий воздух и торопился к казармам. Когда он вышел на канал, он остановился от красоты, в которой ему представился Петербург. Утреннее солнце с голубого неба золотило волны речки, рябившей от набегавшего ветерка. Грязная река казалась синей. Башня и портал реформатской церкви на фоне уходящих вдаль домов были исполнены строгого очарования. По свежему, пахнущему смолой торцу, четко отбивая ногами, бежал на утренней поездке нарядный серый рысак. Городовые в длинных черных кафтанах и фуражках стояли на пустынной улице. Лиственницы Исаакиевского сквера несли с собою печаль севера, и ярко, застывая полнеба, горел громадный золотой купол, окруженный тонкими колоннами, громадными ангелами с факелами и небольшими куполами. С левого бока неуклюже надвинулись на него темной сеткой леса, но и леса нравились Саблину, они напоминали ему годы детства, и без них Исаакиевский собор не был бы родным для него.

Александровский сад покрывался пухом молодой зелени. Мягкая трава тоненькими иголками проступала из земли. От Невы шло могучее дыхание свежести, простора и шири. Бледное небо и колонны сената, широкое здание манежа. Адмиралтейство, просвечивающее сквозь сучья и стволы сада своими белыми фасадами, чередующимися с колоннадами и арками ворот, — все в эти утренние часы полно было особенной прелести, и она странным образом в мыслях и воображении Саблина сплеталась с прелестью золотокудрой обнаженной Китти...

Усилием воли Саблин прогнал от себя этот образ.

Куда идти? По времени — было восемь часов утра, надо было идти в эскадрон. Но занятий в эскадроне не было. Идти домой и остаться одному в своей квартире, пить холостой чай, а потом не знать куда девать все длинное утро до завтрака в полковой артиллерии, было невмозможным.

Саблин подходил к квартире Гриценки. Он приостановился, подумал и стал подниматься к нему.

Двери в квартиру были открыты. Прислуга собрания выносила корзины с пустыми бутылками, посудой и собранским бельем. На столе кипел, пуская клубы пара к потолку, самовар, и Захар, не спавший всю ночь, расставлял стаканы. Из кабинета, где, несмотря на ясный день, горели свечи и где были спущены портьеры, слышались отрывистые хриплые голоса.

Играли на двух столах. В углу, где сидели Гриценко, Воробьев и еще четыре офицера, шла крупная серьезная игра. Там на столе лежала куча золота и пестрых ассигнаций. Маноцков с серым лицом и блестящими глазами, в расстегнутом казачьем чекмене, из-под которого был виден белый пикейный жилет, стоял сзади, жадно смотрел на стол и изредка брал себе карту. Гриценко без сюртука в алой рубашке с помочами, засучив по локоть свои темные волосатые руки, нервно рвал и тасовал колоды. Степочка в наглухо застегнутом сюртуке, напевая и насвистывая песенки и арии, играл как будто бы и небрежно, но глаза его смотрели остро и внимательно и выдавали азарт, охвативший его.

За другим столом не играли, а баловались. Там заседал окруженный молодежью Мацнев. Играли на мелок. Там был товарищ Саблина, румяный и беловолосый Ротбек, простоватый Фетисов, годом старше Саблина, и еще три офицера другого эскадрона, которые все порывались встать и идти на занятия, но никак не могли этого сделать. При входе Саблина Мацнев поднял голову, значительно посмотрел на него и, обращая общее внимание, воскликнул:

— А! С легким паром! Что так скоро, Саша?

Саблин страшно сконфузился. Молодежь смотрела на него цинично, любопытными глазами.

Даже Степочка оторвал глаза от карты и коротко, но внимательно посмотрел на Саблина и кинул ему:

— Отвезли? Благополучно?

— Да, — сказал Саблин,

— Ну и что дальше? — спросил Мацнев.

— Ничего, — сказал Саблин.

— Рассказывай сказки, — сказал Мацнев.

— Расскажите вы ей, цветы мои, — напевал из Фауста Степочка. — Так нельзя, Павел Иванович, мы не в шашки играем. Можете? — обратился он к Маноцкову.

— Ставлю десять.

— Идет в двадцати пяти.

Саблина забыли. Было не до него. Он прошел в соседнюю комнату, где была библиотека Гриценки, забрался с ногами на софу, взял первую попавшуюся книгу с полки и углубился в чтение.

Он читал, но не понимал того, что читает. Видел буквы, слагал их в слова, но смысл слов перебивало сладкое воспоминание пережитого.

Он опять чувствовал нежный запах гиацинтов, полный весенней, чистой свежести, видел белое тело и чувствовал жгучий стыд и сладкую истому.

Книга выпала из рук, он задремал.

Очнулся он от прикосновения чьей-то большой горячей руки к его колену.

— Спишь, Саша, ну спи, ангел мой, я не буду тебе мешать, — сказал кто-то, садясь рядом с ним.

Саблин открыл глаза — Мацнев был подле него.

— Что тебе, — сердито сказал Саблин, неохотно отрываясь от охватившей его дремоты.

— Ничего... Ничего иль очень мало... — ответил Мацнев. — Так-то, Саша. Что, не выгорело?

— Оставь меня, Иван Сергеевич.

— Отчего? Послушай меня, старого опытного в сих делах человека.

— Да что ты от меня хочешь?

Мацнев теснее подвинулся к Саблину и взял его маленькую породистую руку в свою большую с узловатыми пальцами руку.

— Ты еще не умеешь любить... — продекламировал он. — Слушай, Саша... Как жаль, что ты не читал Анакреона... Не знаешь Овидия. О, классики! О, мир античной красоты! С ними и за ними я забываю всю пошлость современной жизни! Как жаль, Саша, что ты не образован. Не сердись и не протестуй, милый друг. Твое образование — образование девицы легкого поведения. Не больше. Немножко истории, немножко географии, много патриотизма, беспредельная преданность Государю Императору...

— Не говори так, Иван Сергеевич, — высвобождая свою руку из крупной руки Мацнева, сказал Саблин.

— Знаю, Саша. Но помни, что мне-то говорить это можно. Я могу это сказать, потому что я сам предан Монархии и Монарху. Россия иною быть не может. Но, Саша, тосковать-то и мне позволено, томиться, рваться и лететь. А, Саша? Саша, ты не читал истории французской революции? Ты... Понял ли ты Наполеона? Ты не парил духом... А я... Я ночами зачитывался мемуарами той великой эпохи. И два мира для меня понятны и достойны подражания — тот мир, где ковались великие принципы *droit de l'homme*<sup>1</sup> и мир античной красоты. Саша, пойми: ты со своею дивной красотой... Ты ведь сам — антик. Статуя молодого бога — ты невежда и понимаешь в жизни и красоте не больше молодого теленка, который скачет по лугу задрыв хвост.

Саблин вспомнил, что Мацнев считался самым плохим ездоком и офицером в полку, что никто так часто не получал выговоры за неряшливость по службе, как Мацнев, и снисходительно улыбнулся.

Мацнев понял его улыбку.

<sup>1</sup> Права человека.

— Ах, Саша! Неужели и ты только комок красивого пушечного мяса, без нервов и мозгов? Неужели ты никогда не поднимешься и не воспаришь духом? А впрочем?.. Ты создан для мира сего. Что же, — со злобой воскликнул Мацнев, — бей ворону, бей сороку! Что попало — бери, хватай, люби, торопись захватить себе побольше счастья, побольше моментов, когда сладострастно сжимается сердце и мир кажется прекрасным, когда чухонка-горничная рисуется богиней красоты, а балетная корифейка мнится недосыгаемым идеалом. Лови момент. Тебе ли, мазочке Саше, понять весь глубокий смысл жизни и любви без удовлетворения... Но только... Не гонись за идеалами Крейцеровой сонаты. Не ищи чистоты любви, но ищи только красоты. Тогда, когда ты возмутился поступком Гриценки, все видели благородство твоей души, а я видел красоту твоего гневного тела. Молодчик Саша. Так им и надо! Пора бросить и забыть все эти пережитки крепостного права. Пора стать людьми. Но помни, милый Саша, что людьми на военной службе стать нельзя.

— Но... почему? — сказал Саблин. — Как нельзя? Напротив. Именно на военной. Ведь это рыцарство. Ведь это высшее отречение от себя, проведение в жизнь самого великого завета Христа.

— Ах, Саша! Ребенок Саша. И притом необразованный ребенок. Ты веришь в это: а *Dieu mon âme, ma vie au roi, mon saeug aux dames, l'honneur pour moi!* Счастливцев! Ты в это веришь, потому что ты — ребенок. Ну... пусть... И будь таким... Но помни: бей ворону, бей сороку — тебе дано, и бери. Бери, не смущайся. Ты читал Шопенгауэра «Мир как воля и представление» — нет! Где тебе! Ты ничего не читал? Для тебя выше философии Мопассана нет, и Золя уже тяжел для тебя. Еще «Нана» ты прочтешь, пожалуй, а уже дальше... Куда!.. Ну что же, Саша? Не вышло? Не выгорело? И черт с ней, найдем другую...

— Оставь меня, — бледнея сказал Саблин. — Неужели без пошлости вы не можете обойтись!

— Прелестно! Очень хорошо сказано.

— Иван Сергеевич, я серьезно прошу, — вставая, сказал Саблин. Мацнев остался на софе, оглядывая с головы до ног возмущенного Саблина.

— Ну, может ли когда-либо женщина быть так красива, как красив юноша, — тихо, как бы сам себе, сказал Мацнев.

Саблин пожал плечами и вышел из библиотеки.

В кабинете все так же играли. Гриценко гневно кричал на Степochку:

— Я не понимаю, Степан Алексеевич, как можно! Как можно так ставить! Что ты издеваешься надо мной?

— Не кирпичись, милый друг. Спокойствие, спокойствие прежде всего.

---

<sup>1</sup> Душа моя — Богу, жизнь — королю, сердце — женщине, честь — мне самому.



— Да бросьте, господа, — говорил Маноцков. — Я ставлю еще пятьдесят. Идет? Дайте мне карту.

— Куплю и я... — сказал сидевший поручик.

Ротбек спал в самой неудобной позе на трех стульях, и его розовое, еще безусое лицо покраснелось, и он походил на большого ребенка. Захар в столовой наливал чай и носил его господам. Саблин пошел домой. Ему хотелось одного — спать и сном сломить все ощущения этого вечера и ночи.

## VI

Во втором эскадроне занятий не было. Все окна обширной казармы с рядами железных коек, аккуратно постланных серыми одеялами, с подушками и фуражками, висевшими над ними, были открыты настежь. У окон стояли без дела скучающие солдаты и смотрели на большой усыпанный песком двор. Одна сторона этого двора была отделена высоким жердевым забором, образовавшим со стеною узкий коридор. Поперек коридора были устроены препятствия: земляной вал, канава, плетень, лежало бревно, обмотанное соломой. Солдаты перегоняли через них лошадей, выпуская их по одной и подгоняя хлыстами-бичами. Там слышались крики и бегали люди, разламливая лошадей. В другом конце двора учили рубить. Были поставлены прутья в деревянные крестовины, и солдаты проезжали мимо них, стараясь срубить прут. У гауптвахты, где стояла полосатая будка и на стойке лежала начищенная труба, ходил затянутый в мундир часовой. Солнце радостно заливало двор лучами, ярко блестело и отражалось в луже и придавало двору с учащимися солдатами, бегающими людьми и офицерами, кучкой столпившимися посередине, веселый и праздничный вид. Тянуло на волю, в поля, в зелень лесов.

Люди второго эскадрона лежали на подоконниках, смотрели в окна и делали свои замечания. Песенники, только что напившиеся чая, стояли у окна отдельной кучкой.

— Гляди, гляди! Унтер-офицер-то! В четвертом, ишь какой, так и норовит по ляжке бичом попасть, как промахнется солдат, — говорил Артемьев, лупоглазый, белокурый парень, показывая на смену, обучающуюся рубке.

— Знакомое дело, — сказал черноусый храбрый ефрейтор Недодай. — Так старания больше будет.

— Господи! — сказал Артемьев, — я всегда итак стараюсь, даже молитву творю. Ну иной раз просто ошибется рука, иль лошадь не попадет, ну и не попал. А тут сейчас и жиг! И пожалиться не смей, я, говорит, по лошади хотел, да ошибся. Куда тебе ошибся. Так и норовит по ноге или по шее, где больнее, оплести кнутом.

— У меня на шее две недели шрам не заживал — зудело... — сказал другой молодой солдат, белолицый, румяный, черноглазый Собцов.

— Ну, это что, — снисходительно проговорил Недодай, — это за дело. Наука. За битого двух небитых дают. Раньше-то больше били. Это пустое. Нашего брата баловать не стоит. Распустишь и сам не рад. А вот обидно, когда с издевкой бьет или куражится, да еще офицер.

— А бывает? — спросил Артемьев.

— Ну как же... Сам виноват — да сам же и побьет. Я молодым был. Только-только устав осиливать начал. По конюшне дневалил. Входит Мацнев, папироска в зубах, курит. А у нас раскидали солому свежую, сено в кидках подготовлено, лошади овес жуют. Долго ли до греха! Я устав помню. Подхожу и говорю: ваше благородие, курить на конюшне воспрещается.

— Ах и дурной же, — вырвалось у черноусого солдата постарше, Макаренко. — Ну можно ли! Этакая дерзость.

— Ты погоди, дальше-то что? «Нагнись, сукин сын, — кричит Мацнев, а сам весь белый стал, трясется. — Нагнись!» Я нагнулся, а он мне по морде лязь, лязь. — «Солдат, — говорит, — не смеет делать замечания офицеру, — ты, такой-сякой, забыл, что я высокоблагородие». А почему? Коли он тогда поручик был.

— Почему? Так захотел, и ладно, — сказал Макаренко. — А твое дело молчать.

— По морде, говоришь, — вмешался худошавый и смуглый унтер-офицер Антонов. — Ловко! Ну, у тебя морда толстая. Ничего.

— И такой это Мацнев... Не любят его солдаты. Сам склизкий какой-то, паршивый, ничего не умеет. На рубку вызовут, либо шашку уронит, либо по уху лошади попадет, на препятствия идти боится, лошадь обносит...

— Ну это што! Это полбеды, — мрачно сказал солдат последнего срока службы Балинский. — А вот нехорошо, что кантонистов в баню с собой таскает.

Наступило неловкое молчание. Никто ничего не сказал.

— Да, — проговорил задумчиво Недодай, — господам все позволено.

— А почему? — спросил Артемьев.

— Почему? Да потому, что они — господа, — тоном, не допускающим возражения, сказал Недодай.

Опять помолчали.

— Ты видал сегодня у Гриценки. Вино, пьянство; разлитое море, сам куражится, расстегнутый. Ну-ка кто из нас водки шкалик принеси — по головке не поглядят. Тут же и девки. При девках — мне прислуга собранская рассказывала — своего денщика по морде за то, что не так ему угодил. Ну, хорошо это? — тихо сказал угрюмый, болезненного вида солдат Волконский.

— Ну это что же, — снисходительно заметил Недодай. — Гриценко барин хороший, душевный барин. Ну, ударил Авдеенко, что за беда. Вместе живут. Авдеенко-то у него одного сахара или папирос что накрадет. — Гриценко никогда и слова не скажет. Это уже так — барин и

слуга. Отношения особые. Гриценко уважительный барин. С ним хоть и в бой — весело.

— А Саша-то, слышали, вступился за денщика, — сказал унтер-офицер Бондарев.

— Саша душевный барин. Хороший барин, — сказал Артемьев. — Прямо как красная девица. С солдатами поет, слова обидного не скажет. Я ему как-то чести не отдал, просто позабыл. Остановил, а сказать что и не знает. Это, говорит, нехорошо, зевать. Да. Ну, я думаю, доложит эскадронному — баня будет, на всякий случай вахмистру сказал. Тот меня в походную, на стойку. Саблин-то, корнет, значит, увидел, спросил за что, отпустил, да еще, говорит, его похвалить надо. Другой бы смолчал, а он — доложил.

— Да что ж. Молодой. А потом такой же будет, — сказал Недодай.

— Кто его знает, — задумчиво сказал Бондарев, — известно, служба — она ожесточает.

— Не то обидно, — желчно вмешался Леницын, угрюмый, молчавший до сих пор солдат, певший в хоре басом, — что толкнут, ударят или что, а то обидно, что правды нет.

— Где же ее сыскать! — сказал Недодай.

— Нет, братцы, в самом деле, ну вот хотя бы расчет. Все видели сколько песенникам Гриценко дал.

— Двадцать пять рублей, — вздохнув, сказал Артемьев.

— А пело нас двадцать пять человек — значит, ровно по рублю на брата. А выдали?

— По восьми гривен, — сказал Балинский.

— Где же пять-то рублей осталось? — спросил Недодай.

— Где? У вахмистра. Ну я понимаю, запевале бы дали, он хор обучает, его первое дело, а то вахмистру. Ему-то за что?

Опять помолчали. Любовин стоял в стороне, опершись спиной о стену, и слушал. Лицо его иногда передергивалось нервной дрожью. Наконец он не выдержал.

— А вы почему же правды-то не добиваетесь? — резко спросил он чуть хрипнувшим от волнения голосом.

— Как же ее добьешься-то? — спросил искоса, недружелюбно глядя на Любовина, Недодай.

— А вот тебя Мацнев ударил не по праву — почему не жаловался?

— Кому же жаловаться? — спросил Недодай.

— Кому? — передразнил его, срываясь с голоса, Любовин. — Эскадронному.

— Гриценке-то! Ну этот, брат, шутить не станет. Вдвое даст. Да и на выsidку в темный карцер посадит.

— Эх, вы! Дальше жалуйся. Протестуй. Ищи правды.

— Где найдешь-то? Кругом — господа. Один другого тянет.

— Господа!.. А что такое господа? Ты думал когда-либо, почему они господа?

— Богатые, ученые... Вот и господа.

— А вы что же — мужики сиволапые? Крепостные? Бар нынче нет, и господ быть не должно. Они такие же люди, а многие — вот хоть бы Мацнев, и хуже нас, так за что же им почет и уважение? Что земли у них много. Так ведь земля-то эта ваша. Разве они сами работают на земле? Они пьют, кутят, а вы за них своим горбом распинаетесь. Земля Божья, как воздух, как вода... А не их.

— Это оставить надо, — строго сказал Бондарев.

— Что оставить? Почему? — горячо воскликнул Любовин.

— А вот то, что говоришь. Пооди, сам понимаешь.

Любовин оглянулся, ища поддержки. Но стоявшие кругом песенники расходились. У каждого нашлась причина отойти от окна. Одному — «смерть курить захотелось», у другого отвязалась шпора, третий вспомнил, что у него койка еще не прибрана. Все разошлись. Остался один Бондарев, который строгим испытующим взглядом смотрел на Любовина.

— Вы это, Любовин, оставьте, — сказал он ему, вдруг говоря на «вы».

— Но позвольте, Павел Абрамович, ведь вы же сами крестьянин. Неужели вы не согласны со мной, что правды нет?

— Крестьянин я, и притом безземельный. В батраках служу, и все-таки такого ничего не скажу, и вам рекомендую оставить.

— А правда?

— Правды, Любовин, вы нигде не найдете. Так от Бога установлено.

— От Бога?

— Так точно. От Бога. Правда только у Бога в Царствии Его, а на земле нет правды.

— Вы в это верите?

— Верую.

Бондарев повернулся и пошел вдоль по казарме. Любовин постоял в нерешительности, пожал плечами и сказал со злобою:

— У, кислая шерсть! Несознательный народ!.. Рабы!

Душно стало ему в прохладной казарме. Щелканье бичей и крики команды на дворе его раздражали, он обчистил себе мундир, надел шинель новую, свою бескозырку, палаш и пошел к вахмистру проситься в отпуск.

## VII

Вахмистр только что напился чая с мягкими свежими булками, дал своей жене спрятать заработанные с песенниками пять рублей, умылся ледяной водой из-под крана, щеткой пригладил свои начинавшие редеть красно-рыжие, коротко подстриженные волосы, смазал фикса-туром усы, распушил их и в чистой рубахе, туго подпоясанный на

круглом животе белым лосиным ремнем — собрался идти выгонять людей на уборку конюшни.

В дверях он столкнулся с Любовиным.

— Ты чего, Любовин, без доклада лезешь, — окрикнул он солдата.

— Я к вам, Иван Карпович, по делу.

— Какое такое дело в будний день и в городской форме?

— Разрешите в отпуск сходить. К отцу. До одиннадцати.

— Баловство одно, — снисходительно сказал вахмистр.

По тону его голоса Любовин догадался, что его дело выгорело.

— Ей-богу, Иван Карпович, отца навестить надо.

— Ну, ладно. Ведомости переписал?

— Готовы, Иван Карпович.

— Поди. Заявись дежурному.

— Покорно благодарю.

Любовин повернулся, чтобы уходить, но вахмистр остановил его сердитым криком: «Постой!»

Любовин обернулся к вахмистру и не узнал его. Лицо вахмистра было сурово и важно. Глаза метали искры.

— Идти-то в отпуск ты иди! — сердитым шепотом проговорил вахмистр, — но помни, Любовин, и знай, что я под тобой землю на семь кукишей вижу, — и вахмистр поднес к самому лицу Любовина свой громадный багровый кулак с пальцами, покрытыми веснушками и рыжими блестящими волосами. — И если ты попробуешь, там ребят мне смущать, или про-па-ганду какую — уморю... Живой не уйдешь! У тебя протекция — знаю, — генерал Мартов за тебя просили — это мне все одно. У меня одно на уме — долг службы и присяга... Да... Разное тут бывало. И крали, и пьянствовали... Один раз человека затащили на чердак ребята, зарезали и ограбили... Все прошу, все спущу и покрою... Но никогда! — слышишь, Любовин, — никогда тут, в этих стенах, никакого социализма не было... Так, ежели понимаешь — какая дурь в голове у кого появится — ты мне ответишь. Головой ответишь. И заступы тебе ниоткуда не будет. Своими руками задушу! — почти прохрипел вахмистр. — Ну, ступай, это я так только. Я и в мыслях того не думаю, чтобы в *нашем* полку нашелся хоть один, кто бы думать позволил себе что-либо против веры, Государя и Родины. Ступай!

Любовин круто повернулся и пошел к дежурному.

«Знает что-либо вахмистр или так только, на всякий случай, страшает его потому, что он сын рабочего и почти кончил гимназию, — думал Любовин, идя по ярко освещенным весенним солнцем улицам. — И если знает, то что знает? Знакомство с Коржиковым, принадлежность к зарождающейся рабочей партии, то, что у него дома есть кое-какие брошюры, или то, что он иногда говорит солдатам. Первого он знать никак не может. Брошюр он никогда в казармы не носил, а то, что говорил солдатам... Кто же донесет на него? Кто?.. Да они же — солдаты. За ласковое слово, за облегчение в работе, за то, чтобы не почистить лишнюю лошадь, не вынести навоз, они готовы

шептать вахмистру и передавать его слова в совершенно извращенном виде. Вот и работай тут! Веди пропаганду. А Коржииков говорит, что главное — войска, что рабочие уже готовы, но боятся солдат, а солдаты, как их свернешь, пока сидят эти продажные шкуры Иваны Карповичи с толстыми багровыми кулаками и на все способные!

Путь Любовину был далекий. Он прошел весь Невский проспект и на Знаменской площади, перейдя по деревянному мосту через вонючую Лиговку, сел на паровую конку, чтобы ехать за Невскую заставу.

Любовин был сыном заводского рабочего, мастера на машинном заводе и попал в полк совершенно случайно, по особой протекции. Отец Любовина был всеми уважаемый человек, начавший с работы простым подкладчиком, изучивший токарное по металлу ремесло и на старости лет сумевший трезвою жизнью и кропотливым трудом скопить столько денег, что купил себе в собственность маленький домик, в котором и жил с сыном и дочерью. Он давно овдовел. Сына и дочь он отдал в гимназии и мечтал вывести их в *люди* — пустить их по интеллигентной дороге. Но сын в старших классах стал увлекаться рабочим вопросом, запустил учебу и был выгнан из гимназии. Старый Любовин хотел его пристроить к заводской работе, но Виктор был не способен к этому и только портил материал. В бесплодных попытках приучить Виктора к делу прошло три года. Наступило время тянуть жребий. Виктор вынул малый номер и попал на службу.

Отцу не хотелось расставаться с сыном, он боялся, что военная служба испортит его, отобьет от работы. В это время дочь его кончала гимназию. В гимназии у нее лучшей подругой была дочь генерала Мартова. Через нее удалось устроить так, что Любовин попал в гвардейский полк и там его устроили эскадронным писарем. И сын — Виктор и дочь — Маруся — оба были талантливые одаренные люди. У сына была большая природная музыкальность и прекрасный нежный тенор. Маруся тоже была музыкальна и мечтала о консерватории и сцене. Старый Любовин смотрел на артистическую карьеру свысока и хотел, чтобы его дочь пошла на курсы и была ученою женщиной.

В семье, несмотря на наружное согласие, был внутренний разлад. Отец крепился, молчал, работал еще больше, целые дни проводя на заводе, брал работу на дом, но не был счастлив. Он не того ожидал от детей, для которых он сделал больше, нежели мог.

Любовин вышел из вагона за стеклянным заводом и прошел по деревянному тротуару шагов двести до дома своего отца. Это был низкий деревянный одноэтажный дом в три больших окна на улицу, крашенный коричневой охрой, с небольшим крылечком и окнами, обведенными белыми деревянными рамами. На входной двери была бронзовая доска. Любовин позвонил. Сейчас же за дверью раздались быстрые легкие шаги, и сердце его радостно забилося. Любовин любил сестру особенно и нежно любовью.

— Виктор! Вот неожиданная радость! — воскликнула Маруся, отворяя дверь и нежно целуя брата.

— Маруся! Ну как?

Сестра сейчас же поняла брата.

— Двенадцать, Виктор, полные двенадцать, — проговорила она, и счастьем сверкнули ее глаза.

Маруся была на три года моложе брата. Ей шел восемнадцатый. Она была настоящая красавица. Густые темно-каштановые волосы были заплетены в две косы, которые спускались ниже пояса и лежали толстыми блестящими змеями. Лицо с розовыми щеками и маленькими, красиво очерченными губами было прекрасного овала с правильным тонким носом. Оно все светилось от громадных прекрасных глаз нежно-голубого цвета. Эти светлые глаза, оттененные длинными густыми, пушистыми ресницами, девственно чистые, как у девочки, смотрели из-под тонких бровей, красивой дугой нависших над ними, ни одна грешная мысль не туманила их. Они меняли выражение, даже цвет, степень синевы своей каждую минуту. Каждое слово, движение души, мысль, молнией скользнувшая в мозгу, за белым чистым лбом, над которым легло два-три случайных непокорных локона — сейчас же отражались в этих глазах. То светились они восторгом и счастьем победы, искры летели из них и синяя кайма кругом блестящего зрачка переливалась цветами сапфира, то вдруг останавливались, тускнели, становились грустными, бледнели, точно выцветали, и бледною бирюзою был обведен глубокий черный зрачок.

Сложена она была прекрасно. Руки и ноги маленькие, талия тонкая, грудь, чуть начавшая формироваться, дышала нервно и порывисто, отвечая ее чувствам и ее словам. Брат Виктор был болезнен, угрюм и желчен, от нее дышало здоровьем, молодой силою, крепостью мускулов, кровью, кипевшею в ее жилах.

— Что же и отвечать заставили? — спросил брат, чувствуя, как счастье сестры передается и ему.

— Немного. Но главное, Андрей Алексеевич читал перед всем классом мое сочинение, — краснея от счастья, сказала Маруся. — Вот-то было неловко!.. И знаешь, у него оно вышло и действительно хорошо. Так он читал. Я местами колебалась: да я ли это написала? Так красиво. А ты что? Чем-то недоволен? Ну пойдем ко мне. Все не можешь привыкнуть?

Через столовую и кабинет отца, где стоял слесарный станок и аккуратно, по стене, в особых гнездах из кожи были развешаны сверла и другие инструменты, они прошли в комнату Маруси. Синяя занавеска закрывала нижние стекла и отделяла ее от улицы. Перед окном был простой письменный стол, обтянутый черной клеенкой, с большой хрустальной чернильницей и множеством тетрадей и книг. Полка с книгами висела на стене. Вдоль стены стояла узкая, накрытая белым пикейным одеялом с подушками, прикрытыми чехлом с кружевами, железная койка. По другую сторону небольшой комод, фотографии на нем, пучок вербочек, пустивших ростки, в стеклянном стакане, старенький альбом с деревянной крышечкой, на которой были нарисованы



васильки и маки, фарфоровый зайчик и в стороне — большая кипа нот. Три венских соломенных стула и в углу — платье, занавешенные темной материей, дополняли обстановку комнаты Маруси.

Над койкой, в черном багете, висела увеличенная фотография пожилой женщины в простом платье и платке на голове — мать Маруси. Над комодом была пришпилена кнопками фотография — группа гимназисток и по краям ее — большие портреты Достоевского, графа Льва Толстого и Шевченки.

— Ну садись, — ласково сказала Маруся. — Сейчас придет Федор Федорович, чаю напьемся. Обедать ведь не скоро. Так не привыкаешь?

— Разве можно к этому привыкнуть! — воскликнул с отчаянием Любовин. — Разве это служба? Учение? Жизнь? Издевательство над личностью. Сегодня — будят в четыре часа утра. Что такое? Пожар? Тревога? Нет, его высокоблагородию песенники понадобились. Изволь одеваться, чиститься и иди — пой. А там — дым коромыслом! Вино, пьяные расстегнутые офицеры, уличные девки... Срам. Это у них служба Государю и Родине!

Маруся молчала. Грусть перелилась в ее глаза, и они печально и сочувственно смотрели на брата.

— Что же делать, Виктор, — тихо сказала она, — терпи. Ведь кругом так. Думаешь одно — а жизнь делает другое.

— Вчера... Гриценко-эскадронный побил своего денщика за то, что тот ему вместо шампанского подал красное вино. И вдруг Саша, помнишь, я тебе про него рассказывал, все меня петь учит, вступился. Мне вестовые рассказывали, чуть до ссоры у них не дошло. А ведь у них чуть что — сейчас и дуэль, и драка, и убийство. Звериные нравы, Маруся.

В соседней комнате заливались канарейки, висевшие в клетке под окном, уличный шум врвался в открытую форточку звонками паровой конки, лязгом железа и грохотом тяжелых ломовых подвод. И сквозь этот шум прозвучал тонкий дребезжащий звук колокольчика.

— Это, наверно, Федор Федорович, — сказала Маруся. — Я видала его у ворот завода, он разговаривал с рабочими.

— Все брошюры им раздает, — раздражительно сказал Виктор, — а они их на сигарки изводят.

— Расскажи ему все. Хорошо? — сказала Маруся и побежала отворять дверь.

## VIII

Федор Федорович Коржииков был вечный студент. Он так давно не был в Университете, что и сам забыл — студент он или нет. Другое увлекало его. Увлекала пропаганда среди рабочих, партийная деятельность в социал-революционной партии, в которой он считался вид-



ным и деятельным работником. Ему было тридцать лет. Маленький, сторбленный, неловкий, весь заросший рыжими волосами, с небольшой рыжей бородой, которой он не давал покоя, то комкая ее, то сминая рукою, то засовывая в рот, в рыжем пиджаке и рыжих штанах, неопрятный, в веснушках на бледном исхудалом лице, он производил сначала неприятное впечатление. Но ум у него был быстрый, суждения резкие, говорил он отлично, умел влезть в душу и своим, чуть хриплым, медленным, точно уставшим голосом внушить любую идею. Терпеливый и настойчивый, на все готовый, он вел свою работу для будущего, не торопясь, считая, что если через сто лет будет революция, и то хорошо.

— А, воин, — сказал он, здороваясь с Любовиным, — что в будни пожаловали? Или Монаршая милость какая объявлена?

— Да, милость! Кабак был ночью у господ, а мы, слуги, сегодня гуляем. И занятий нет. Праздник у ста человек потому, что один выпил лишнюю рюмку.

И Любовин подробно рассказал о всем том, что видел и слышал эту ночь у Гриценки.

— Так, так, хорошо, — говорил Федор Федорович, внимательно слушавший Любовина.

— Что же хорошего-то, Федор Федорович? — озлобленно воскликнул Любовин.

— Сами нам помогают, Виктор Михайлович. Ведь солдатики-то, поди, возмутились, ведь вот тут капельку прибавить, так, штришок один поставить, подчеркнуть где надо — гляди и до бунта недалеко.

— Эх, Федор Федорович! Не знаете вы нашего брата, солдата. Это такая серость, такое смирение, такое... черт его знает, что такое — ему в морду дай — он другую щеку подставляет. Евангелие какое-то ходячее!..

— Ну не совсем оно так выходит, — сказал Федор Федорович, — вот Саша-то ваш возмутился, говорите.

— Ах, что Саша! — махнул рукою Любовин.

— А вот такого-то и надо. Ведь вы, Виктор Михайлович, сами виноваты. Горячка, кипятилка, шум, пыфы да пuffy, а это в нашем деле не годится. Надо, как говорят немцы — *langsam, ruhig*<sup>1</sup> — вот и ладно будет. Вы говорили с солдатами после? Воспользовались психологическим моментом?

— Воспользовался, говорил... Эх, Федор Федорович, вот этот стол вы скорее убедите, нежели их. «Господа! Господа! На то господа! Правды на земле нет, правда только у Бога», а стал им объяснять — разошлись. Боятся.

— Так, так... Виктор Михайлович, да разве можно так? Ведь этак вы и людей запугаете и сами буйную голову не сносите. Эх, ведь и учил же я вас и говорил как надо. Наше дело тайное. Не пришлось еще

<sup>1</sup> Медленно, спокойно.

время по площадям-то кричать да открыто проповедовать. Правда-то, Виктор Михайлович, пока что по подвалам скрывается да имени своего не сказывает. Зачем всем оглашать ее. Выдадут — это вы верно говорите, выдадут. Один другого боится и, чтобы тот не выдал, сам выдаст. Что говорить? Подлец человек стал, ух какой подлец. Да ведь и судить-то строго нельзя. Сами рассказывали, какой кулак у вахмистра. Молот кузнечный, а не кулак. А душонки-то дряблые, как ветошки, где же им противостоять-то? Ну и падают. А вы, Виктор Михайлович, поодиночке да ласково. Есть такое слово хорошее: *товарищ*. Да... вот с ним и подойдите к солдату. Да наедине. Он этого слова не слышал, не знает. Оно ему в диковину. Как мармеладка это слово. Так в душу и вползет. Вы мне одного воспитайте в духе возмущения — вот и дело сделаете. Пусть один станет всем не доволен, все критикует, все не по нему, а тогда за другого принимайтесь. Да офицера бы надо. Без офицера, верно, трудно. Надо офицера обработать.

— Невозможное это дело, Федор Федорович, как вы их возьмете, когда они, можно сказать, и не люди даже. У них свои понятия.

— Ну к чему так. Были и между ними. Возьмите: Пестель, Рылеев... Да ведь и Лев Николаевич офицер был, а смотрите, как работает. «Офицерскую и солдатскую памятки» давал я вам?..

— Ну, то, может быть, в других каких полках, а у нас это невозможно. У нас офицер на лошадь лучше смотрит, чем на человека. На прошлой неделе в третьем эскадроне солдат на препятствии убили, так эскадронный командир знаете что сказал: что он, сукин сын, убили, туда ему и дорога, а что он лучшую лошадь в эскадроне загубил, это я ему и в будущей жизни не прощу! Вот вам какие они.

— Да ведь не все же? — сказал Федор Федорович.

— Все, — злобно отвечал Виктор.

— Ну, а Саша? — тихо сказала Маруся.

— И Саша такой же будет, — сказал Виктор.

— А ты не дай ему таким стать. Разбуди в нем человека, — сказала Маруся и взяла за руку брата. Это прикосновение как будто смягчило Виктора.

— Как же быть-то, уже и не знаю, — сказал он.

Федор Федорович переменял разговор. Он стал рассказывать о забастовках как средстве борьбы, успешно применяемом за границей.

Маруся пригласила в столовую и стала поить брата и Федора Федоровича чаем.

— Наши товарищи еще не организованы для этого. Но я думаю, что это удастся. Есть уже живые головы, которые это понимают. Вот отец нам сильно мешает, — говорил Федор Федорович, — а ведь он мастер. Что офицер в полку, то мастер на заводе.

— Вы вот совратите его, — воскликнул Виктор.

— Ну, он старый человек. Его трудно переубедить. Нет, надо вот такого, как ваш Саша. Чем больше вы мне про него рассказываете, тем более мне сдается, что это материал, который можно обработать.

Федор Федорович встал из-за стола и стал прощаться. Маруся и Виктор пошли провожать его.

— Опять к рабочим? — сказала Маруся.

— Да, есть у меня тут молодчик один. Товарищ Павел. Мозгляк такой. И с виду невзрачный, а злоба в нем так и кипит, — сказал Федор Федорович и посмотрел на Марусю.

Она стояла, прислонившись спиной к серой железной печке. Ее руки были опущены вдоль тела. Гордо приподняв голову, она из-под опущенных ресниц глядела то на брата, то на Коржикова. Воля и ум светились в ее глазах. Невольно загляделся на нее Коржиков. «Эк, какая! — подумал он, — совсем княжна Тараканова в крепости или Шарлотта Корде перед убийством Марата. Нож только в руки дать. Героиня! И как не похожа на брата! Вот эта пошла бы на все и сторела бы живьем за идею, за слово, за дело». Коржиков перевел глаза на Любовина и тихо, вкрадчивым голосом сказал:

— А что, если бы Марию Михайловну нам попробовать?

Любовин вспыхнул и с удивлением посмотрел на Федора Федоровича.

— Понимаете ли вы, что говорите, — тихо сказал он.

— Очень понимаю, Виктор Михайлович. Но если жертва нужна, мы ее принесем. Перед такую, как Мария Михайловна, никто не устоит. И ваш Саша станет послушным, рабом ее желаний.

Наступило зловещее молчание. Маруся еще более запрокинула голову затылком к печке и стояла, неровно дыша и не глядя ни на брата, ни на Федора Федоровича. Любовин с негодованием посмотрел на Федора Федоровича. Ведь знал же он, как бесконечно любил его сестру этот несуразный Коржиков!

— Вы с ума сошли, — злобно кинул он Федору Федоровичу.

— Так, так, — спокойно сказал Коржиков. — Мария Михайловна, если понадобится, вы принесете эту жертву?

Маруся ничего не ответила. Тяжелый вздох вырвался у нее из груди. Она медленно опустила голову и устремила совсем синие васильковые глаза на Коржикова. Он как-то съежился, скомкал в кулачок свою бородку и, пожимаясь плечами, пошел к двери.

— Если партия признает это нужным, — сказал он хриплым голосом, — Мария Михайловна, мы вас попросим.

И скрылся за дверью...

## IX

Густые черные тучи низко клубились над землей, застилая горизонт. Далекая молния таинственными зарницами играла в них. В природе что-то совершалось, и земля приникла в испуге. Высокие березы стояли тихо и ни один листок не трепетал на них. Широкие болотные луга точно набухли водой, и за ними грозный и глухой стоял лес. За

лесом серебром под черными тучами тянулась узкая полоса далекого залива. Ночь наступала.

В маленькой избушке, на окраине Красного Села, в которой одну комнату на время лагерей занимали Саблин с Ротбеком, было нестерпимо душно. В оба открытые окна вместо воздуха шла густая темнота, полная болотных испарений. Ротбек завалился спать с десяти часов и теперь храпел громко и переливисто. Саблин сидел у окна в темной комнате. Ему стало жутко и одиноко в этой маленькой комнате, и он вышел и пошел по березовой аллее к окраине Красного Села.

Было так темно, что он скорее по догадке нашел небольшую скамейку под березой и сел на нее.

Черное небо, редкие мигающие зарницы, таинство, совершавшееся в природе, для него имели связь с тем, что творилось на земле.

Эти последние три дня лагерь жил особенною жизнью. Днем и ночью по военному полю, по Дудергофу, по слободам Красного Села, у вокзала, по линейкам лагеря, разъезжали статные люди на серых лошадях в голубых мундирах и с ними лучшие унтер-офицеры, прикомандированные от гвардейских полков. Староста и десятские селения не снимали с себя цепей и часто обходили дома. В самом Красном Селе появились люди, одетые в штатское платье, но широкоплечие, могучие, отлично выправленные. Они ездили на велосипедах, гуляли по дорожкам, сидели на завалинках. Все чего-то ждали, к чему-то прислушивались, за чем-то следили. Простое Красное Село, с полем пыльным, кое-где покрытым истоптанною травой, вдруг стало таинственным и жутким.

Произошло это потому, что в Красное Село приехал с молодою и прекрасною женою Государь и поселился в середине Красного Села, во дворце.

Саблин глубоко с детства верил, что Государь — *Помазанник Божий* и теперешнее состояние природы, с надвигающеюся грозой и тревожно мигающими зарницами, сопоставлял с тем, что творилось на земле, и ему было страшно.

Кто-то, одетый как крестьянин, следил за ним от самой его избы и шел сзади, тихо ступая по дорожке. Саблин сел на скамью на краю селения, где дорога спускалась вниз, и прислонился к стволу березы. Шедший за ним человек остановился неподалеку от него у телеграфного столба и как будто вглядывался в Саблина. Это не был солдат, но что-то знакомое показалось Саблину в невысокой фигуре. Черный картуз оттенял еле видную бледность лица. Этот человек был неприятен Саблину: он мешал его одиноким думам.

— Кто там? — крикнул Саблин.

— Прохожий, — глухо ответил незнакомец и совершенно слился со столбом.

Проволока гудела на столбе, прохожий молчал, и Саблину начинало казаться, что тут никого нет. Лишь иногда при вспышках зарницы едва намечалось бледным пятном лицо прохожего. «Что ему нужно от

меня? Кто этот прохожий?» — подумал Саблин. Ему было неприятно присутствие чужого человека, и он хотел встать и уйти.

— Что, товарищ, и вас томит погода-то? — вдруг спросил взволнованным ломающимся голосом незнакомец, и слово *товарищ* прозвучало у него неуверенно и странно.

Саблин не отвечал. Его возмутила эта фамильярность чужого человека, Бог знает кого. «Может быть», — подумал Саблин, — это кто-либо из агентов тайной полиции соскучился ночным бодрствованием и решил скоротать ночь разговором». Саблин сознавал необходимость охраны, но в тоже время испытывал к ее агентам чувство брезгливости и недоверия.

— А погода на редкость. Самая настоящая воробьиная ночь. Ведь мы на Лысой Горе, поди, в такую ночь шабаш справляют. Что завтра еще будет! А ведь завтра, товарищ, парад. Нехорошо это. А?

— Да, — сказал Саблин. — Для парада это нехорошо.

— И, ах как нехорошо-то еще! — точно обрадовался тому, что сказал Саблин, заговорил незнакомец, и Саблину показалось, что он где-то слышал этот теноровый хрипловатый голос.

— Вы-то, товарищ, подумайте. Государь завтра будет свое явление иметь к народу. Да... Помазанник Божий... Бог земной... Ведь по крестьянству-то — а солдаты наши почитай все крестьяне — вера-то какая по этому поводу. Государь — во всей славе является — и солнце, и ангелы с неба трубят, и золото, и порфира, и виссон, и великолепие парада, и вдруг завтра польет дождь, вымочит Государя Императора и вместо Бога в ореоле золотых лучей увидят все просто мокрого человека, поёживающегося под холодными струями воды и такого же смертного, как и мы все... Ах, товарищ, что тогда будет! Ведь как бы пелена с глаз не спала. Не сказал бы народ — а на что нам Государь, коли ежели он такой же, как и мы. И при чем тут Помазанник Божий?

— Да кто вы такой? — нетерпеливо воскликнул Саблин.

— Я-то? Да на что вам знать? Я вас не знаю, вы меня не знаете. Ночь прямо до ужаса страшная, зги не видать — вот и поговорим откровенно. И вы свою душу облегчите, и я бремя скину. Обоим легко будет. Да... Прохожий я. Не здешний человек. Увидел, что вы идете, ну и решил поболтать с вами.

— Но как смеете вы так говорить о Государе Императоре!..

— То есть как это так? Я, простите, вас не особенно понял.

— Так непочтительно... и смело.

— Ах, так... Извольте видеть, я-то ведь этого гипноза не имею. Я не верую, что царь Помазанник Божий, да и в Бога я не верую. Как можно веровать в Бога, если ученость имеешь и знаешь, как и откуда что произошло. Когда понимаешь, что такое атом или там бацилла и как человек от обезьяны произошел, то, полагаю, странно веровать в Бога, сотворение мира и прочие сказки... Вам, может быть, это и неинтересно совсем.

— Да, совсем неинтересно, и с такими людьми я ни спорить, ни разговаривать не желаю. Уходите от меня!..

Незнакомец поехался, теснее прижался к столбу, помолчал немного и сказал тихо:

— Зачем уходить. Правду вам, ваше благородие, мало кто скажет. А вы послушайте, может, я вам что и полезное скажу. От другого не услышите, а услышите от меня, может кое-что и задумаете новое. Я бы и помолчал, да молчать ведь тоже неинтересно. А и ночь-то больно жуткая. Ведь то, товарищ, надо иметь в виду, чтобы держать его в рабстве. Вот было освободительное движение. Вы слышали, конечно, как убили Государя Александра II. Ну разве можно так? Исподтишка, на глухой улице... Разбили карету, а тут сани. Усадили Государя в сани и увезли во дворец. Кровь на снегу осталась. Часовых приставили. Святая, мол, кровь. Цветов нанесли, икон, золота, серебра — ну и, конечно, ничего не вышло. Царь — мученик. Я мальчиком был, ходил смотреть. Так тоже чувство эдакое испытывал на манер святости или страха какого. Да... Ну, а народ-то он и взрослый, как дети. Ах, не так надо, не так. Надо так, чтобы показать только, что все это обман. Ну вот, к примеру, завтра, на параде, когда все будут держать ружья на караул и не сметь будет дышать, выйдет из строя один солдат... Смелый... Ведь их-то, смелых, таких, что на верную смерть шли, много и даже очень много... Возьмет ружье наизготовку и выстрелит в Государя. Ну пусть его хоть на части разорвут потом. Да ведь то потом, а дело-то сделано будет. Ведь тогда — аминь — вместо Помазанника Божия труп в грязи и пыли и всенародно, понимаете, всенародно! Потом уже не убедишь других, что этого нельзя. Кончено.

— Кто же вы и почему вы так говорите? — сдерживая свое волнение, спросил Саблин. — Потому ли, что вы так же, как и мы, все боитесь и трепещите за священную особу Государя Императора, или потому, что вы из этих страшных людей. Вы понимаете, как вы рискуете тогда!

— Ах, товарищ... Ну что? — арестуйте меня. Я вам душу свою изливаю, потому что ведь ночка-то эта томит, ведь тянет на откровенность. Ну, как хотите. А только я так думаю, что все ваше царство земное на песке построено. Дунет ветер, понесет пески и развалится все. Вот опять, к примеру, завтра... Да... Вдруг все ваши правильные квадраты войск, батальонные и полковые колонны расстроятся, сойдут с места, перебьют офицеров и разойдутся по всему полю и вместо великолепного парада будет страшная вооруженная толпа, к которой жутко подойти. Ведь все это придумано, что этого нельзя. Да — одному нельзя, а всем? Всем можно, все-то ведь сила и вот, когда все этого захотят, так их не испугаешь. Никто не поверит, что Царь — избранник Божий, Богом помазанный — а много ли надо? Вот только чтобы завтра дождь пошел или там кто-либо смелый нашелся. И не уследишь за ним. Знаете ли вы их, солдат своих, что у них на уме? Слушают, слушают... а ведь численно и порознь физически-то они много сильнее вас будут. Так-то, товарищ.

Саблин встал.

— Кто вы? — задыхаясь, воскликнул он. — Как смеете вы... Я вас! Темная фигура отделилась от столба и, пригнувшись, пустилась бежать по шоссе.

— Стой! — крикнул Саблин.

Но в это мгновение страшный вихрь внезапно налетел на землю, затрепетала всеми листьями своими громадная береза, молния прорезала небо сверху донизу и сейчас же громовой удар загрохотал над головою. При свете молнии Саблину показалось, что он узнал прохожего.

— Любовин! — крикнул он.

Но хаос подхватил его. Небо гремело громовыми раскатами, и вдруг хлынул холодный ливень. Он до последней нитки рубахи промочил Саблина, налетавшие вихри хватили его за ноги и мешали ему идти, вода, пенясь и сверкая при блеске молнии, пузырями, потоками неслась по скату шоссе. Молния сверкала за молнией. Они иногда по две, по три сразу, пучками прорезывали черное небо, и тогда вдруг на секунду выявлялась вся улица Красного Села, березы по сторонам шоссе, кипящие водою канавы, бараки за ними и промокший насквозь в шинели, кажущейся черной, дневальный под пестрым деревянным грибом, и сейчас же страшные раскаты грома, небо опрокидывалось на землю, мрак скрывал все, и только вода сверкала крупными вспыхивающими по ней пузырями, да сильными толстыми струями бил и сек по лицу, по груди и по ногам косой дождь, гонимый яростным вихрем. Было не до Любовина или иного незнакомца, было не до гоньбы за ними. Саблин добежал до своей избы и тут одумался, стряхнулся, тихо, оставляя за собою лужи воды, прошел в горницу, зажег свечу и, не будя денщика, спавшего за перегородкой, с трудом стянул с себя промокший китель, рейтузы, белье, обтерся мохнатым полотенцем и голый кинулся под свое одеяло. У противоположной стены храпел безмятежным крепким сном Ротбек. Саблин взглянул на часы. Было три часа утра. Гроза уходила к Гатчине, реже сверкали молнии, дальше гремел гром, вихри стихли, и только ровный методичный дождь бил по крыше и шумел по листьям берез и лужам садика.

«Как же завтра парад?» — подумал Саблин и в ту же секунду почувствовал, как он словно отделился от земли и понесся куда-то. Молодой сон охватил его освеженное дождем тело. Он едва успел задуть свечу, как погрузился в сладкое небытие, которому так славно и ровно сопровождал не прекращавшийся дождь.

## Х

Когда Саблин проснулся, было утро и не рано. Ротбек, совершенно одетый, в новых рейтузах и сапогах с ярко блестящими шпорами, в вицмундире со сверкающей портупеей и перевязью через грудь — пил за столом, стоявшим у окна, чай. Денщик его намазывал ему мас-



лом ломти хлеба. Денщик Саблина приготовил ему все новое. Мокрый китель и рейтузы были убраны с пола и лужи воды затерты.

И едва только Саблин понял, где он и что он, как совершенно особенное праздничное настроение охватило его. Такое настроение у него бывало в детстве, когда еще жива была его мать, в именины или в день причастия. И он понял, что это оттого, что сегодня парад, и он увидит Государя. Как был, не одеваясь, вскочил он с постели и бросился к окну. Какова-то погода?

Дождь перестал, но все в природе было мокро, тускло и не по-праздничному убрано. Седые тучи спустились низко и ключьями тумана легли на поля и огороды. Было свежо. Хрипло в воздухе, переполненном влагой, звучали голоса. Из двора напротив солдаты выводили лошадей и садились на них. Бравый ефрейтор Степаненко, принаряженный, чисто вымытый, блестящий, точно лаком покрытый, осматривал их и давал последние наставления.

— Пучки соломы все захватили, ребятёж? Смотри, затирать, чтобы было чем ноги лошадям. Ватрушенко, спорхай к взводному, снеси ведро, надоть в подводу положить. Не пришлось бы копыта замывать. «Парад будет, парад не отменен!» — радостно подумал Саблин.

— Стыдись, срамник, — проговорил Ротбек, прожевывая хлеб с маслом, — хоть бы рубашку одел. Где вчера шатался? Всю комнату на следил.

— Милый Пик! Парад... парад... сегодня. Шерстобитов! Умываться, одеваться...

Саблин в две минуты был готов. Праздничное настроение, охватившее его, не унималось, но шумными, весело перекликающимися колоколами звонило у него на душе, и было хорошо, и хотелось обнять весь мир от этого ощущения молодости, здоровья, красоты своего полка, который уже выстраивался по улице, сознания, что сам составляешь маленькую песчинку в этом лихом славном, знаменитом полку.

Было дивно хорошо увидеть своего Мирабо, сытого, холеного гунтера, блестящего, как атлас, гладкого и косившего за сахаром свой чудный черный глаз, еще отраднее было солидно подъехать к своему эскадрону, неподвижно замершему на улице, услышать команду Ротбека «смирно» и, курц-галопом подъехав к флангу, поздороваться с людьми и выслушать бодрое и радостное «здравия желаем, ваше благородие». А потом горделиво, шагом ехать по фронту и смотреть прямо в лица солдатам. Вчерашняя ночная сказка вспомнилась ему. Вспомнился весь разговор, рассказ про солдата, про бунт, про непогоду. Стало жутко смотреть на людей. Неужели Любовин?!

Вот и Любовин. Он стоит во втором взводе в задней шеренге. Бледное лицо нахмурено, но голова повернута на Саблина и медленно провозаает он его глазами.

Нет, и Любовин ничего. Бледен немного. Но он всегда такой. Нездоровый какой-то. Только погода не подгадила бы.



За эскадром стоит вахмистр Иван Карпович. Вся грудь его горит в медалях, цепочка из ружей солидно спускается по животу. Какой он красавец! Лучше его никто не ездит в полку. Даром что ему уже за тридцать лет и он в отцы годится Саблину, как осторожно, почтительно глядит он на него и глазами показывает в сторону. А, — это поручик Фетисов уже подъезжает к строю.

И с тем же праздничным восторгом Саблин поскакал к флангу своего эскадрона и весело закричал:

— Смирно! Глаза направо! Господа офицеры!..

Когда выезжали на военное поле, оно кипело жизнью. Длинные вереницы пехотных артельных и крестьянских подвод с песком тянулись к Царскому валику, чтобы исправлять то, что сделала вчерашняя непогода.

В собственных экипажах, на извозчиках, на велосипедах, пешком ехали и шли одетые в светлые розовые, голубые, лиловые и белые платья, в больших шляпах со страусовыми перьями, цветами, лентами дамы и барышни. Все свои, полковые, батарейные, или их знакомые, по особым билетам допущенные к тому месту, где будет Государь, матери, жены и сестры офицеров. Жандармы в светло-голубых с серебром мундирах на серых лошадях проверяли билеты и пропускали. По военному полю бодро гремела музыка, и темные колонны пехоты выходили из проходов между бараками Авангардного лагеря. Люди тяжело и медленно шли по размокшей глине, которая до самого голенища залепляла ярко начищенные сапоги.

Остановившись на местах, где уже с пяти часов утра стояли жалонеры с пестрыми флачками на штыках и были от колышка к колышку протянуты веревки, люди сдвигались в шумные кучи и начинали смывать и счищать глину с сапог и приводить себя в такой вид, как будто бы они только что вышли из своих палаток.

Все поле кипело работой. Пехота чистила сапоги, конница, слезши с лошадей, замывала копыта, распушивала хвосты, разбирая их по волоску, и все в то же время тревожно смотрели на небо и на холмы Дудергофа. Это уже такая примета, что если покажется из тумана темная шапка лесов Дудергофа, то будет хорошая погода. Но Дудергоф весь скрылся за тучами, и даже внизу вдоль татарского ресторана тянулись полосы седого тумана. Ничто не предвещало солнца, а между тем оно должно было быть, должно было осиять венчанного Царя, Божия помазанника.

Так верили седые генералы, начальники дивизий, командиры бригад и полков, в ярких лентах и орденах, насупившись, смотревшие, как чистились их люди, так верили молодые офицеры, старые фельдфебели и солдаты всех сроков службы, и Любовин так верил. По крайней мере, Саблин подметил, что и он бросал тревожные взгляды к серому безотрадному небу и поглядывал на клубящийся туманом Дудергоф.

В сказочной красоте и величии должен был явиться перед своим войском Царь, солнцем осиянный, прекрасный, великолепный и далекий. Не от мира сего. Так было всегда, — говорили старые люди, — что какая бы погода ни была, но Государя неизменно сопровождало солнце. И одни видели в этом милость Божию, чудо, явленное народу в подтверждение того, что Царь не людьми поставлен, но Богом, другие, скептики и малoverы, усматривали в этом отличную работу Петербургской физической обсерватории на Васильевском острове, знающей, когда будет какая погода, трети, молодежь, сами мало видавшие, считали, что это просто случай.

Саблин глубоко верил, что солнце должно быть, но иногда, когда видел серое небо, с которого вот-вот прыснет дождь, сомневался и страх закрадывался ему в душу. А что как не будет? Ведь тогда все то, о чем говорил вчера неизвестный прохожий, весь этот ужас может осуществиться, может случиться и быть.

Он подходил к Ротбеку и с тоской говорил ему:

— Пик, что же солнце?

И слышал неизменный ответ

— Будет солнце.

— Но почему, почему? — с тоскою спрашивал Саблин.

— Потому что будет Государь Император. Так всегда было! — убежденно говорил Ротбек.

«Вот он верит, — думал Саблин, — а я не могу! Господи! Помогите моему неверию».

Любовин из рядов 2-го взвода со злорадством поглядывал на небо. Это был он, наговоривший случайно так много Саблину. Вчера, накинув крестьянское пальто и фуражку, он с вечера следил за Саблиным. Он видел тревогу молодого офицера и понял, что слова его подействовали и, если солнце сегодня не явится, а очевидно, что оно не явится, — поколеблется Саблин и с ним много поколеблется народа. То-то будет хвастать он перед Коржиковым, ликовать своею смелостью. Саблина он не боялся. Он слышал, как Саблин окликнул его ночью. Значит, узнал, но сомневался. А раз сомневался, то не спросит. Он отопрется, и Саблин сам будет рад, что не надо начинать такого дела, где третьего свидетеля нет и все шло с глаза на глаз и где все преимущества на стороне Любовина. Он-то может говорить что угодно, нести какую угодно ложь, ну а Саблин что скажет? Что слушал и не прервал, что молчал? Нет, Саблин не спросит. Не в его интересах! А солнца не будет! Вот вам и помазанник Божий. Любовин презрительно оглядывал своих товарищей и мысленно ругал их серыми, скотами и кислою шерстью.

— Ты чаво, Любовин, тут распетукиваешься, ничего не делаешь, когда люди копыта замывают. Гордо больно смотреть стал! — услышал он властный голос вахмистра. — Смотри, кабы я тебе твою обязанность не напомнил.

— Не было бы дождя опять, Иван Карпович, — скромно сказал Любовин.

— До-ждя! — протянул вахмистр. — Сказал тоже, дурной. Солнце будет! Государь Император будет!..

## XI

Все поле покрылось темными квадратами пехотных колонн. Краснели погоны и тускло виднелось серебро и золото офицерских уборов. Сзади пехоты неподвижно вытянулись запряжки артиллерии и банник в банник, дуло в дуло выровнялись орудия. Великий князь на темно-гнедом сытом коне, с седлом, покрытым вальтрапом с каракулем, объехал полки; великая княгиня Мария Павловна с сыном-кадетом в черном мундире с алыми погонами и прелестной девушкой с дивными каштановыми волосами, в коляске, запряженной тройкой с лихим кучером в голубой шелковой рубахе, поддевке черного бархата и шапке с павлиньими перьями, подъехала к валику, на котором была установлена большая палатка. По широкой лестнице, обставленной цветами в горшках, между блестящей свиты и иностранных агентов в их пестрых формах она, сопровождаемая детьми, поднялась наверх и сверху окинула глазами громадное поле.

Так же серо было небо и туман клубился шапкой над Дудергофом, скрывая его леса и дачи. Сзади валика длинной пестрой лентой на зеленом лугу стояли полки кавалерии. Белой широкой полосой тянулась кирасирская дивизия, три пятна — красное, синее и малиновое — обозначали казаков, а левее темная вторая дивизия заканчивалась пестрым и белым с красным пятном гусарского полка. У самой Лабораторной роши, хмурой, набухшей от дождя, стояли пушки и видны были всадники конных батарей.

Поле нервно вздрагивало, охорашиваясь и ровняясь последний раз. Проверили по шнуру носки. Бегом разбежались по местам жалонеры, и пешие линейные кавалерии сели на лошадей. Жандармы отгоняли разносчиков лимонада и бутербродов от войск, и видно было, как бежал на согнутых ногах старик с лотком, покрытый пестрым полотном на голове, а его рысью преследовал жандарм. Две собаки возились на усыпанной песком площадке, предназначенной для церемониального марша, и пеший стражник гонялся за ними и не мог их прогнать.

Подле валика на стульях и скамейках, еще с раннего утра принесенных денщиками, сидели и стояли зрители. Больше дамы и барышни, дети, офицеры штабов, изредка виднелась хорошо одетая штатская фигура, умиленно смотревшая на войска. Все лица были повернуты в сторону Красного Села. Туда же смотрел, небрежно сидя на коне с обнаженной шашкой в руке, Великий князь Владимир Алек-

сандрович и разговаривал ломким голосом, звучащим на все поле, со своим начальником штаба, статным, седым, стройным генералом.

— В Финляндском полку, — говорил Великий князь, — вы заметили, Николай Иванович, собачка...

— Едет, ваше императорское высочество, — почтительно прервал его начальник штаба, указывая глазами на Красное Село.

Оттуда вылетела тройка и быстро приближалась к пестрой группе, стоявшей между парадом и Красным Селом. Там была свита, лошадь Государя и коляска императрицы.

Великий князь нахмурился и посмотрел на Дудергоф. Из серых туч ясно отделилась его косматая, покрытая елями, соснами и орехом вершина, и ветер рвал в клочья туманы над ним, и обнажились верхние дачи. Внизу отчетливо стали видны павильоны и галерея татарского ресторана. Но солнца не было.

Коляска подлетела к свите и остановилась. Великий князь посмотрел на часы. Было без двух минут одиннадцать.

— Точен, — сказал он начальнику штаба, — как отец, как дед и особенно прадед был точен.

Он незаметно, мелким крестом перекрестился. Волнение отразилось на его красивом холеном лице.

— Па-г'ад! Сми-г'но! — скомандовал он.

Затихшие полки чуть шелохнулись. В разных местах бурого мокрого поля раздалась разноголосая команда: «смир-рна! смир-рна!» — и все замерло в напряженном ожидании.

— По полкам, слу-шай на каг'аул!..

Великий князь поднял свою рослую лошадь в галоп и тяжело покакал навстречу Государю.

Нарушая общую тишину резкими, отрывистыми звуками, играли гвардейский поход трубачи собственного Его Величества конвоя. Государь поздоровался с казаками, и «ура» вспыхнуло на правом фланге. Государь подъезжал к полку военных училищ. Полк вздрогнул двумя резкими толчками, юнкера взяли на караул, и тысяча молодых лиц повернулись в сторону Государя.

Впереди свиты на небольшой серой арабской лошади с темной мордой, с которой умно смотрели большие черные глаза, накрытой громадным темно-синим вальтрапом, расшитым золотом, легко и грациозно ехал Государь. Красная гусарская фуражка была надета слегка набок. Из-под черного козырька приветливо смотрели серые глаза, алый доломан был расшит золотыми шнурами, на лакированных сапогах ярко блестели розетки и чуть звенела шпора.

— Здравствуйте, господа! — раздался отчетливый голос и из тысячи молодых грудей исторг восторженный выклик, шедший от самого сердца.

И сейчас же величественные плавные звуки Русского гимна полились на фланге и слились с ликующим юным «ура».

В ту же минуту яркий солнечный луч блеснул на алой фуражке и залил царственного всадника, свиту и коляску, запряженную четверкой белых лошадей, в которой в белых платьях сидели обе императрицы.

Природа точно ждала этого могучего крика «ура», этого властного, твердой молитвой звучащего гимна, чтобы начать свою работу. Невидимый ветер рвал на клочья серый туман, и наверху ослепительно горело точно омытое вчерашним дождем солнце и на синем небе показались мягкие пушистые барашки.

Чудо свершилось.

Помазанник Божий явился во всей своей славе и красоте, сказочно красивый на сером арабском коне, смотревшем как-то особенно умно, выступавшем как-то особенно легко и горделиво. Сказка о великом и далеком Царе раскрывалась перед солдатами и народом, и они видели эту сказку в золоте шнуров доломана, в расшитом вальтрапе с косыми углами, в царственном коне, в воплях «ура», исторгаемых из тысяч грудей, и в плавных звуках величественной музыки. Полубог был перед народом, и земные мысли отлетали от людей и чувствовалась близость к небу. Парили сердца.

Саблин, привстав на стремена, смотрел туда, где все шире и громче гремело «ура», где полк за полком брали на караул, щетинились штыками, где, казалось, земля пела небу восторженный Русский гимн.

Он торжествовал. Он понял, что теперь, какой бы ни был злодей в рядах армии, он не может, он не посмеет не только выйти из рядов и выстрелить, но не посмеет иначе думать как все. Он не посмеет не молиться.

Саблин оглянулся на Любовина.

Бледный, широко раскрывши воспаленные глаза, смотрел Любовин то в поле, то на солнце, и уже не злоба, но недоумение и тоска отражались на его лице.

## ХII

«Ура» становилось громче и мощнее. Новые полки примыкали к нему. Государь объезжал артиллерию. Все насторожилось в рядах конницы.

Высокий всадник на белом коне, покрытом черными пятнами, властно скомандовал:

— Кавалерия! Шашки вон, пики в руку, слуша-ай...

Волна небывалого волнения и счастья захватила Саблина, ему стало тяжело дышать. К глазам подступили слезы.

Из-за трубачей на серых конях ему виден небольшой интервал между полками. Здесь сейчас должен показаться Государь. Соседний полк уже кричал «ура». Трубачи разом взяли трубы к губам. Раздалась команда «господа офицеры», и грянул ликующий полковой марш. Из-за левого фланга полка показалась нарядная серая лошадь. Вот и он.

Саблину казалось, что Государь смотрел ему одному прямо в глаза. Саблин смотрел в глаза Государю и мысленно говорил: «Ты видишь? Я корнет Саблин! Прикажи и умру, и погибну, и потону в море блаженства смерти, потому что умереть за тебя — блаженство...»

Саблину казалось, что Государь слышит и понимает его.

«Как благородно, ласково его лицо, как одухотворенно красивы черты его!»

Сзади ехала на четверке прекрасных лошадей в белой с золотом открытой коляске, с жокеями в белых лосинах и красных шитых золотом курточках, прекрасная юная императрица, сзади ехала блестящая свита, где каждый всадник был красота, где седые бороды и благородные осанки старых великих князей и генералов гармонировали с юношами, прекрасными, как боги, — Саблин ничего этого не видел. Он видел только одного всадника в алом доломане и красной фуражке, видел его и его лошадь, залитых солнечными лучами, покрытых благодатью неба.

Трубачи оторвали трубы и бросили играть. Государь сказал два слова — «здорово, трубачи!» — а Саблину показалось, что он сказал что-то дивно прекрасное, сказочно волшебное. Трубачи ответили, и Государь скрылся за ними и первым эскадронном. Оттуда донеслось приветствие полку. Исторически, неизменно трогательное приветствие. И полк потрясся от ответа и могуче, и радостно крикнул «ура!».

Звонким молодым голосом Саблин кричал от всего сердца. Государь давно проехал дальше, а Саблин, опьяненный безумным счастьем, все кричал, сливая свой крик с сотнями молодых голосов. Одно мгновение он подумал — «А Любовин?» Обернулся. Но и Любовин кричал. Рядом Адамайтис широко раскрыл рот, и крупные слезы счастья текли по его щекам, и он кричал, сам не понимая того, что с ним происходит.

«Вчера был сон. В *нашем* полку ничего не может быть такого, — подумал Саблин, и горячее счастье залило его сердце. — Счастье быть в *нашем* полку».

Потом долго шла пехота. Было видно, как сверкали штыки, гремела музыка и бил турецкий барабан. Кавалерия вдруг повернула повзводно направо и взводными колоннами рысью пошла огибать военное поле. Пахло свежей примятой травой, мягко ступали по сочной земле лошади и шли легко, точно опьяненные криками, музыкой, видом человека, поставленного Богом. Звенели шпоры и мундштуки, и все это вместе с далекими звуками бодрого церемониального марша подымало душу и несло куда-то. Полки выстраивались у крайнего жалонера в эскадронную колонну. Все нервничали. Толстый барон Древениц, командир полка, распушив густые седые усы, сотый раз проезжал вдоль полка и подравнивал; его помощник худощавый, стройный, красивый с узкой черной пробитой сединою бородою, князь Репнин, флигель-адъютант покойного Государя, никак не мог установить Ротбека и то подавал его нервного Мумма на полшага вперед, то осаживал. Гриценко давал последние наставления задней шеренге и кричал звонким тенором: «Задняя, смотри, не напирай, держи два шага и кулаки подравнивай чище. Ответ дружнее и, смотри, левый фланг не заваливай!»

Эта суета, эти поправки усиливали и подогревали взволнованное состояние, электризовали людей, говорили, что происходит что-то особенное.

Подались вперед и сейчас же остановились. Еще подвинулись вперед и стали. Передний полк уже стал поэскадронно отделяться от жалонера. Слышно было, как глухо гудели литавры, перерываемые звонкими возгласами труб.

— Чище равняться, задняя не напирай! — хрипло последний раз проговорил командир первого эскадрона и выскочил вперед. Раздалась его солидным баском произнесенная команда «марш!», и линия блестящих крупов лошадей со сверкающими медными котелками на синих чемоданах плавно отделилась от Саблина и стала удаляться в поле, где был он.

Серебряный звук звонкого сигнала «рысь» прозвучал как приказ от *него*. Гриценко, чертом вертевший на своем нервном англоарабе, завopil полным голосом: «Марш». Саблинский Мирабо точно ожидал этой команды, подставил задние ноги под перед, выкинул правую переднюю вперед и плавно, загребая ногами землю, пошел в пустое пространство, где виднелся первый эскадрон и дружно кричали люди.

Слева лилась мягкая мелодия рыси, играемой трубачами. То сладко пел кларнет, и ему вторили трубы, то отсчитывал темп баритон и будто говорил лошадям: раз, раз, раз! Лошади пряли ушами, ловили такт, и эскадрон шел ровно, сливаясь с музыкой. Вправо был *он!* Там была громадная свита, там был валик, на котором сверкающей шелками группой стояли императрицы и великие княгини и княжны, там была пестрая линия зонтиков ажурных, легких, синих, розовых, пунцовых, белых, казавшихся громадным цветником, но Саблин ничего этого не видал. Он видел только нарядного серого араба и царственно всадника на нем. В эти мгновения он любил его до восторга и мечтал об одном: как бы лучше пройти. Он видел нечеловеческие усилия Ротбека, который никак не мог справиться со своим Муммом, и злился и ненавидел пухлого розового Пика и сердился на Мумма. Но это было только одно мгновение. Раздался ласковый голос Государя: «Спасибо, ребята!» — и уже не стало его видно.

Впереди было пустое поле, и музыка летела уже сзади обрывками, точно клочки воспоминаний чего-то необычайно счастливого и прекрасного. Первый эскадрон выдвинулся во взводную колонну и скакал галопом, Гриценко скомандовал, и их эскадрон поскакал за ним. И нет его, нет свиты, впереди пустое поле с уходящими полками.

### ХІІІ

Там, у Царского валика, еще гремела музыка. В карьере неслись казаки, лихим галопом шли гусары, звенела конная артиллерия, а здесь, в полку, уже все было кончено. Серые будни наступали. Хотя был дан отдых и три дня праздника, но какой же это праздник *без него!*



Полк свернулся в колонну по шести. Песенники были вызваны перед эскадронами, и офицеры выехали вперед.

Ходила я, девица,  
Во боро-о-чек,  
Наколола я ноженьку  
На пене-о-чек, —

пели песенники. Трубачи на серых лошадях рысью обгоняли полк. Громадный геликон шел галопом и прыгал раструбом вверх и казался нелепым и грозным и точно хотел крикнуть что-то в самое небо. Изящный штаб-трубач, вольнонаемный, окончивший консерваторию, растопырив носки и развернув тощие колени, тряся с серебряным корнетом в правой руке. Вид у трубачей был уже будничным, все говорило, что праздник кончен.

Гриценко замахал рукою адъютанту, и тот, сдерживая своего толстого серого коня, отделился от трубачей и подъехал к Гриценко.

— Ну как? — спросил его Гриценко.

Песенники перестали петь и тоже прислушивались к тому, что скажет адъютант о том, как проходил полк.

— Отлично. Лучше всех. Равнение идеальное. Господа не равнялись. Это немного портило. Но я пропустил всю дивизию, *наш* полк лучше всех. Мне говорил барон, что Государь отменно доволен и сказал: мои, как всегда, великолепны!..

— Так и сказал?

— Да. Генерала Бакаева во второй пехотной отставить приказал от командования бригадой. Не справился с лошадей, прямо в свиту влетел, чуть Великого князя не сбил.

— Ну!

— Ужасно. Откуда у него такая лошадь?

— А вообще парад?

— Удивителен. Мне французский агент говорил, что он никогда ничего подобного не видал. Его особенно поразила армейская пехота. Маленькие люди, а такой шаг развили — говорят, полтора аршина.

— Ишь ты, крупа наша, — ласково сказал Гриценко.

— Но мне лично не нравится, как они правой рукой машут, слишком далеко отбрасывают.

— Ермолов опять что-нибудь сморозил?

— Представь, кажется, ничего.

— А так новости?

— Казаки просили, чтобы их от полицейской службы избавили. — Ну!

— Государь, говорят, недоволен остался. Великий князь поддержал, и их освобождают. Говорили что-то о создании конной полиции, да я не расслышал.

— Ну, а завтрак?



— Обычно. Толчая, сплетни, слухи о назначениях, о переменах, все та же биржа, как всегда. Шипов, говорят, первую дивизию получит или Уральским атаманом, я уже не понял, мне Фриц рассказывал, такая лотоха, ничего не поймешь. Ну, addio<sup>1</sup>, — поеду нагонять полк, а то барон подъедет, будет расспрашивать.

И адъютант, приподнимаясь на английской рыси, поехал к трубачам.

Поле пустело. Неслись извозчики и коляски, и длинными змеями уходили колонны полков. В золотистых полях колосающейся ржи за Лабораторной рошею влево красною змеею тянулись гусары, посередине и чуть впереди синели уланы и, уже уходя за холмы, спускались к Шунгоровской мызе черные на вороных лошадях конногренадеры.

Сладкий миг пролетел и не вернется больше. Сердце тихо билось, голова перебирала ликующие моменты совершившегося, будни сдавливали кругом, и солнце на синем небе с барашками казалось выцветшим, бледным, обыденным и скучным.

Впереди играли трубачи. Какою-то тоскою по прошлому веяло от певучего вальса, доносившегося обрывками сквозь топот конских ног и фыркание коней.

Саблин прислушался.

Играли модный вальс «Невозвратное время».

«Да, — подумал Саблин. — Невозвратное время! Его не вернешь». И ему стало грустно, но в грусти его звучала счастливая нота.

#### XIV

В собрании обедали наскоро. Не все офицеры были за столом. Ко многим из Петергофа, Царского и Стрельны приехали жены, и они обедали отдельно, или у себя, или в садике собрания. Другие воспользовались тремя днями отдыха и уже умчались, кто в Гунгербург, купаться в море, кто на Иматру.

Саблин, не выспавшийся за ночь и уставший от впечатлений дня, после обеда завалился спать вместе с Ротбеком, который, как ребенок, мог спать когда угодно и сколько угодно.

Он проснулся в пять часов и лежал на спине в сладкой истоме. Впереди было три дня отдыха, а там суббота и воскресенье — пять дней, которые не знаешь куда девать и чем заполнить. За перегородкой Ротбек громким шепотом справлялся у денщика, приехал ли извозчик.

— Пик, ты куда? — крикнул Саблин.

— В Павловск, к матери, — отвечал Ротбек и вышел в белоснежном кителе и длинных рейтузах.

— Возьми меня с собой, я на музыке посижу.

<sup>1</sup> Прощай.

— Отлично.

Саблин вскочил, и через пять минут они оба в легких темно-серых пальто ехали в старой коляске с выбитыми резиновыми шинами на бойкой толстой лошадке своего хозяина красносельского извозчика.

Летний день тихо догорал. От скошенных полей пахло ароматом трав. Они проехали длинную Николаевку, где висели мохрами соломенные щиты и казаки вели лошадей на водопой и загородили всю улицу, проехали опрятную деревню Солози и Новую, и потянулись справа и слева мокрые от ночного ливня луга, низкие кустики ивы по ним, чахлые овсы, невысокая рожь, вся синяя от васильков, узкие полоски небогатых посевов. На низких местах стояла, отражая голубое небо, вода. К колышку на веревке была привязана пестрая корова и теленок, щипавший траву у дороги, вдруг задрав хвост и жалобно мыча, понесся смешным галопом по полям.

Иногда им встречались возы с сеном. Тихо скрипели колеса. Пахло легтем и свежим духовитым сеном. Ротбек старался схватить клочок сена — *на счастье*. Проехали Соболево и по сторонам шоссе стали высокие лиственницы, а влево темной стеною надвинулся густой Царскосельский парк.

Саблин и Ротбек долго молчали, отдаваясь воспоминаниям дня, переживая вновь все виденное ими.

— Наш полк лучше всех! — убежденно, как бы отвечая на свою мысль, сказал Ротбек.

— Конечно, — сказал Саблин.

— Как жаль, что офицеры не ровнялись, — сказал Ротбек, — и я не ровнялся. Но ты понимаешь, я не знаю, что сделалось с Муммом, уперся на железо и так тянул, ну ничего с ним не сделаешь. В правой руке шашка, а левой я ничего не мог сделать. Прямо с ума зверь сошел.

— А мой Мирабо?

— Ах, шел идеально. Я влюблен в него. Он такой душка.

— Правда? Правда?

— Да и ты, Саша, лучше меня ездишь. Я еще научусь... Но скажи... Я не очень портил? И, как думаешь, *он* не заметил?

— Но ведь похвалил же! Похвалил, — сказал Саблин, зная о ком и о чем говорил Ротбек, потому что оба думали одними мыслями.

— Ах, он всегда хвалит. Ему нельзя не похвалить. Что было бы, если бы он не похвалил?

— Оставалось одно — застрелиться. Уйти в отставку, зарыться в деревню.

— А ты видел, какие у него глаза! Он прямо на меня смотрел.

— И на меня, Пик... Пик, правда, он особенный человек?

— Он и не человек... Они помолчали.

— Саша, — сказал Ротбек, — а ты не рассмотрел, в каком платье была императрица?

— Нет. Я только *его* и видел. Что-то белое.

— Или розовое, — сказал Ротбек. — Беда! Меня сестры будут спрашивать, в чем да в чем была одета, а что я скажу? Я только **его** и видал.

— И я тоже.

— Нет. Ты заметил лошадей в коляске Государыни? Белые, а морды и веки глаз чисто розовые.

— Только у нашего Государя и есть такие лошади, — убежденно сказал Саблин.

— Да. Могущественнее и лучше его нет. А как прекрасна Россия!

— И *наш* полк!

— *Наш* полк лучше всех.

И опять молчали, отдаваясь счастьем своих двадцати лет, тихого прохладного вечера, красивых садов и аромата скошенного сена, отдаваясь счастьем любви к Родине.

— Постой, Пик, я слезу и пойду на вокзал.

— Зачем, он подвезет. Или поедем ко мне. Мама и сестры так будут рады.

Саблину представились розовые барышни, почти девочки, старшей было шестнадцать, некрасивые, неловкие и застенчивые сестры Ротбека с белыми ресницами и белыми бровями, неизменно в одинаковых розовых платьях, белокурые, румяные, в веснушках, не знающие куда девать свои загорелые руки, на все говорящие одним восклицанием — «ах!» и торопящиеся усадить гостя играть в раздражающую нервы игру «квик», и он поспешил отказаться.

— Нет, милый Пик, если позволишь, я приеду завтра, а сегодня и тебе лучше одному и я хочу быть один, пережить это все снова, переждать.

— Ах, Саша, я так тебя понимаю.

Саблин слез и прошел через станцию на вокзал. По случаю хорошей погоды музыка играла в саду, и громадное здание вокзала с длинными рядами скамеек перед белой раковиной оркестра было пусто. Гимназист с гимназисткой укрылись в сумраке, на средних скамьях и о чем-то шептались, капельдинер бросился к Саблину с программой, он рассеянно взял ее и прошел через зал к ресторану. Он был тоже пуст. Саблину хотелось пить. Он сел за круглый мраморный столик, спросил себе чаю и своих любимых, особенных, специальность Павловского вокзала, пирожных «эклер».

Он был счастлив. Все его молодое, хорошо отдохнувшее сытое тело наслаждалось. Из парка неслись звуки музыки, шум толпы, шарканье ног. Он ловил музыку одним ухом и, не улавливая мотива, чувствовал, что она рассеивает думы и создает какое-то неизъяснимо радостное, чудное чувство отвлеченности. Мысли сбивались, таяли, и оставалось одно чувство радости бытия.

В окно был виден уголок парка, сидящие на музыке нарядно одетые люди, проходящие офицеры и штатские, гимназисты и лицеисты с дамами и барышнями. Саблин любовался ими. Прошло два стрелка в конфедератках с ополченским крестом под кокардой и в широких

шароварах с двумя блондинками, корифейками балета, и Саблину радостно было думать, что он такой же гвардейский офицер, как они. Кирасир с толстой красной дамой прошел мимо и раскланялся с Саблиным. И это тоже было приятно. Он был одним за столиком, но он не чувствовал себя одиноким, он был как бы в своей семье, как бы у себя дома. Это были его братья и товарищи.

Мимо ходили дамы и барышни. Нежный аромат духов доходил до Саблина и волновал его. Он потребовал еще стакан чая и пирожных и задумался.

Чего-то не доставало ему именно теперь, именно сегодня, когда разгравшаяся кровь была внутри его могучими толчками и когда он горячо, всеми фибрами души любил Государя и Родину и был влюблен в себя. Хотелось другой любви. Неосознанно хотелось женской ласки.

Он посмотрел кругом. «Вот эта с накрашенным лицом и подведенными бровями — доступна? Да». Краска залила его лицо. Вспомнил Мацнева, его наставление. «Бей сороку, бей ворону!»

Подойти к ней? Но как? Со стыда сгоришь? И что скажешь и как? А вдруг она не *такая*. Скандал! Скандал! Разве можно оскорбить женщину? Конечно, она не такая! Она слишком молода и прекрасна.

Проходившие мимо женщины заглядывались на молодого красивого офицера, иные звали его своими глазами. Кровь кипела в нем, а он хотел и не смел подойти, все больше и больше смущался и горел на медленном сладком огне желания.

Ему казалось, что все видят его желания, читают на лице его мысли и мечты. Было стыдно. Он краснел. Он то снимал фуражку и клал подле себя, то снова надевал ее, то был полон решимости и готов был встать и подойти к первой попавшейся, то вдруг чувствовал себя потерянным и смущенным, понимая, что он не посмеет, никогда не посмеет и ничего у него не выйдет из этого, и тогда нервно глотал простывший чай и ел пирожные, не чувствуя их вкуса, смотрел вдаль и старался слушать музыку.

Вдруг мягкий грудной голос окликнул его:

— Александр Николаевич, как давно я вас не видала!..

## XV

Он поднял глаза. Перед ним, опираясь на розовый зонтик с перламутровой ручкой, стояла Китти. Большая розовая шляпа была надета круто набок, и какая-то птица с розовыми крыльями подпирала ее. Платье из легкой полупрозрачной красноватой материи в фалболах, слишком открытое для летнего туалета, рисовало ее полнеющую фигуру ясными откровенными, подчеркнутыми штрихами. Шелковые юбки внизу шуршали и шумели при каждом ее движении. Золотистые волосы были аккуратно уложены под шляпу и причесаны и завиты у парикмахера. Они блестели, как блестели и зубы, и чуть загорелое

лицо. Она не была покрашена, была свежая, юная, и только развязные манеры и то, как стояла она, опираясь на зонтик и чуть покачивая бедрами, выдавало ее профессию. Краска волнения и счастья залила лицо Саблина, и от Китти это не укрылось. На этот раз он не уйдет от нее так, не простившись, на этот раз он будет ее. Китти покраснела.

Саблин вскочил перед нею. Она сейчас же села. Сел и он.

«Милая... Чудная... — думал он. А внутренний голос какого-то развратного бесенка все шептал ему на ухо... и доступная... доступная!.. Лови момент!.. Бей ворону, бей сороку!»

Он не знал что делать. Куда девать руки.

— Хотите чаю? — предложил он.

Она посмотрела ему в глаза и рассмеялась в лицо таким заразительным, счастливым смехом, что и он засмеялся.

— Ну вот, ну вот, — говорил он, — чему вы?

— А вы чему, милый Александр Николаевич?

— Чему? — вдруг становясь серьезным, сказал Саблин. — Я счастлив, Екатерина Филипповна...

— О, — смутилась она. — Зачем так официально. Зовите меня Китти. Просто Китти. Ведь мы друзья?

Пухлая рука в шелковой ажурной, надетой до локтя, митенке коснулась его загорелой руки.

— Ну, скажите мне, отчего вы счастливы? — тихо и серьезно спросила она.

— Ах... Китти... Екатерина Филипповна... Сегодня был парад.

— Я знаю, — сказала она. — Вы видели Государя. Государь Император похвалил *ваш* полк. Как я понимаю вас!

Она, жившая среди офицеров, бывавшая часто в казармах, поняла его сразу. У ней были те же чувства обожания к Монарху. Циничная и легкомысленная, она в то же время была верующая до ханжества и любила монарха и Россию, благоговела перед штандартом и также понимала честь мундира и обаяние полка, как понимали это офицеры.

Саблин блестящими восхищенными глазами смотрел на Китти.

— Вы понимаете это, — сказал он. — Это чувство, когда видишь его. Вы любите его?

— Я его обожаю, — сказала она.

Он посмотрел ей в самую глубину ее глаз. Будто хотел узнать — не шутит ли она, но она не шутила. Глаза смотрели сосредоточенно и серьезно.

Саблин почувствовал, как тепло побежало к его сердцу. «Какая она прекрасная», — подумал он. Вспомнил раннее утро весною. Тихий свет солнца, затененного шторами, бросающий золотистые блики на ее тело. Вспомнил золото ее волос под голубыми лентами и красоту ее линий и вздрогнул.

— Хотите чаю? — еще раз предложил он.

— Да ведь вы уже пили. Сколько вы выпили?

— Не помню. Четыре, пять стаканов.

— Ну вот. Неужели еще хотите?

— Нет, я вам предлагаю.

— Не хо-чу... — отдельно сказала она. — Па-си-бо.

И улыбнулась.

— Слушайте, милый человек, — сказала она, чуть пожимая кончиками пальцев его руку. — Я хочу вам сделать одно предложение. Вы свободны сегодня, да? Вы никому ничего не обещали? Вы не дежурный завтра?

— Нет, я свободен. Все три дня, и субботу, и воскресенье.

— Этакая прелесть!.. Ну, слушайте.

Она сама смущалась. Смущался и он, и не шел ей на помощь, и не знал, что делать, что говорить.

— У меня, — тихо сказала она, — здесь дача. На Фридрицинской. Вы узнаете ее. По левой стороне. Толстые спиленные ивы растут вдоль решетки палисадника. Я одна. Совсем одна. Приезжайте ко мне... Ужинать.

Он смутился. Он понял, что это ему нужно было догадаться пригласить ее ужинать, а не ей его. И она поняла его смущение.

— Не сердитесь, милый человек, я так хочу.

Саблин еще раз проверил свои к ней чувства и, смущаясь и запинаясь, тихо выговорил:

— Я вас люблю, Екатерина Филипповна.

Краска счастья залила все ее лицо. Нежность сквозила в нем.

— Милый Александр Николаевич! Если бы вы знали, сколько счастья даете вы мне этими двумя словами. Вы знаете *кто* я, и вы мне это сказали. Ведь от сердца сказали? Да? Не балуясь?

— Да, — смущенно сказал Саблин.

— Ну вот, ну вот... И вы... мне! О! Какой восторг! Ну, слушайте. Только поймете ли? Не подумаете ли чего худого? Я вам правду буду говорить, как на духу скажу вам. Я никогда никого не любила. Я любила жизнь, ее блеск и шум, пьяные пиры, песни, наряды... Я холодная была. Без страсти... Да! Я не такая, как Владька, которая каждый день влюблена... Я любила деньги, власть... роскошь... И... слышите: никого, никогда... Меня ведь и прозвали — ну, вы-то слышали, наверно: Катька-философ, — так меня величают. А вот вас я полюбила тогда с первого взгляда. Как за Захара Гриценкина вы вступились. Вы — человек, Александр Николаевич. Вы не только офицер и красавец. Я сначала шутя вами увлеклась и Степочку просила, чтобы он послал вас ко мне, а потом, там у меня, когда вы... насмеялись над моей красотой, — глухим шепотом произнесла Китти, — я поняла, что влюблена в вас, влюблена... как кошка! Как я ждала вас! Как тосковала, безумствовала! Все думала — придете. Вы не пришли... Злой! Я следила за вами. Узнавала, не полюбили ли кого? Не были ли у другой? Ведь вы... не знаете женщин...

Густая краска залила лицо Саблина.

— Этакий восторг! — прошептала Китти. — Но, слушайте, слушайте... Не презирайте и не оттолкните меня. Мы, пропащие женщины, мы тоже сердце имеем. Мы любим один раз и сгораем в этой любви... Вот другая из нас, в каком свете вращается — богатство, роскошь, брильянты — а никого не любит из тех, кто ей дарит. А есть у ней любовь. И любовник ее не только не дарит, а понимаете, сам берет от нее, иной раз и приколотит. А она... понимаете... любит. Я знаю, что на несчастье вас полюбила. Знаю, что бросите, бросите скоро, и ничем вас не удержу. Ну что ж! Хотя один день — да мой!

— Что вы говорите, Екатерина Филипповна, не говорите так. Я сам не знаю... Я восхищен вами. Может быть, уже люблю...

— О, не надо... Не надо этого... Но... нам неудобно здесь говорить. Тут слишком много народа. Для вашего мундира это нельзя. Так встретиться, поздороваться еще куда ни шло, но сидеть так долго на виду у всех... Так придете сейчас, да...

— Екатерина Филипповна! Поедемте вместе.

— Что вы! Что вы! Вот уж это никак нельзя.

Она смотрела на него счастливая, восхищенная и улыбалась. Какие-то планы роились в ее голове. Она протянула ему руку.

— Через полчаса, — сказала она, — на Фридрицинской. Не обманите. Он горячо пожал ей руку. Она вышла из-за стеклянной стенки, и Саблин видел, как она спустилась в сад и, нагнув голову, пошла стороною от толпы в дальнюю аллею.

И было время. Из толпы выделялся и шел к ресторану румяный Ротбек и с ним все три его сестры, все в розовом, все красные, в веснушках и с любопытством, застывшим на светлых глазах.

Их-то теперь Саблин уже не мог никак видеть. Он думал о Китти, он жаждал ее. Он встал, расплатился за чай и пошел на вокзал. Там он сел под часами и следил, как медленно подвигалась стрелка и отсчитывала те тридцать минут, что отделяли его от свиданья с Китти.

Они казались ему вечностью. Он просидел двадцать минут, а потом решил пойти пешком, чтобы успокоиться.

Китти из парка помчалась в гастрономический магазин и покупала закуски, фрукты, сласти и вина для того, чтобы достойно принять дорогого гостя.

В ней пело счастье.

## XVI

Было уже темно, когда Саблин вышел на Фридрицинскую. Он без труда отыскал дачу. Густые кусты желтой акации в стручьях росли за деревянным забором. Влажный воздух был напоен запахом цветущего табака и левкоев, стеклянный балкон обвивали длинные ветки душистого горошка. Оттуда светился, сквозь спущенные шторы, красный фонарь и неслись звуки пианино. Китти пела.

Саблин остановился. Все было точно в опере или сказке. Густые, раскидистые липы глухой улицы тонули во мраке. Нигде не видно было прохожих. Сквозь зелень ярко блестели красные окна, и оттуда полузаглушенный голос говорил о страсти.

И хочу наслаждений я страстно.  
Кубок выпить, налитый до дна,  
Если б даже за миг тот прекрасный  
Мне могила была б суждена!

Поцелуем дай забвенью,  
Муки сердца исцели,  
Пусть умчится прочь сомненье,  
Поцелуй и жизнь возьми!

Китти почувствовала шаги Саблина и, прежде чем он позвонил, открыла ему дверь.

— Мы одни, — сказала она ему. — Совсем одни. Горничную я ушла. Никого нет. Давайте пальто и шашку.

Балкон был залит розовым полусветом. Раскрытое пианино стояло в углу, мебель, обитая кретоном — диванчик, кресла, пуфы, кушетка, волчья шкура на полу — все было банально до пошлости, но Саблину казалось прекрасным.

В столовой кипел самовар. На столе лежала ветчина, телятина, холодные цыплята, осетрина, разные пирожки, стояли бутылки вина и коньяка.

«Когда успела она все это устроить!» — подумал Саблин и почувствовал, что после раннего обеда чай и пирожные только обманули его аппетит.

На Китти было то же розовое платье, но слишком глубокое декольте она стыдливо прикрыла косынкой, и, странное дело, она и в самом деле стыдилась и стеснялась перед Саблиным. Ей радостно было угощать его, смотреть, как темнели от вина его прекрасные глаза, и в ней все трепетало.

— Хотите ростбифа? От обеда остался прекрасный ростбиф. Только он на леднике. Посветите мне.

Он был сыт, но не мог отказаться. Так забавно казалось идти вместе через мощный двор и смотреть в маленькую дверь, как освещенная мерцающей свечкой, подобрав юбки, низко нагибалась Китти и шарила на белом снегу.

— Милый. Тут малина есть. Хотите малины?

Они шли по темному двору, над которым высоко в синем небе горели звезды и тихо что-то шептали вековые липы, проходили по скрипучему крыльцу через кухню в столовую, где под висячею лампою было светло и уютно.

Они выбирали ягоды малины, пальцы Китти стали розовыми, и он стал целовать их, а она смеялась нервным раздраженным смехом.



Ужин был кончен. На часах половина двенадцатого. Не говорятся. Неужели встать и уходить?

Китти поднялась. Она терялась. Саблин подошел к ней. Слова прощания замерли на его устах. Она протянула ему обе руки. Он сжал пухлые горячие, чуть влажные руки.

— Ну?! — вдруг сказала она и протянула ему губы.

Неодолимая сила толкнула его к ней.

Когда он оторвался, он шатался как пьяный. Как в тумане видел он синие счастливые глаза и лоб с растрепанными золотыми кудрями.

Китти молча пошла из столовой. Он за ней. За маленькой темной гостиной была спальня. Фиолетовый фонарь на золотых цепочках мягко освещал широкую постель, постланную свежим бельем.

Китти склонилась на грудь к Саблину и замерла с полузакрытыми глазами. Он нежно охватил ее руками.

Она чуть приподняла голову, губы сложились в нежную, словно детскую улыбку...

— Милый...

Слезы застилали ее глаза, он осушил их поцелуем.

— Ах, — сказала она... — Я счастлива! Как я счастлива! И тихо упала на его крепкие сильные руки.

## XVII

Эти дни были райским сном.

Вдруг вставали они в четыре часа утра, когда еще солнце не показывалось из-за темных лесов, поспешно одевались и шли по тихим и сонным улицам, покрытым росой. Они останавливались на мосту с золотыми оленями, долго смотрели, как рябила под косыми лучами восходящего солнца вода, отдавали разгоряченные лица дуновению утреннего ветерка, а потом шли дальше, за парк, в поля, уже скошенные, где стояли длинные копны сухого душистого сена. Там ложились они. В синем утреннем небе пели жаворонки, перепела перекликались, трещали кузнечики, а люди спали кругом, и никого не было на белом свете, кроме них.

Там на мягкой постели из щекочущего сена она отдавалась ему, освещенная утреннею росой, с телом, пахнущим сеном.

Потом спали на сене. Спали долго, пока солнце не поднималось над копною и не заглядывало в их счастливые лица. Тогда просыпались они и пугливо озирались. Не видел ли кто?

Китти причесывалась, надевала шляпку, а он должен был служить ей вместо зеркала. В губах у нее были шпильки, и она сосредоточенно зашпиливала сзади густые волосы, и потемневшие глаза ее были серые.

— Смотри, — говорила она, не разжимая губ, — прямо я шляпку одеда?

— Прямо, — говорил он.

— Ах, какой противный. Он и не смотрит.

И правда, он не смотрел. Он любовался ее белыми полными руками, в которых при каждом движении пальцев играл под шелковой кожей мускул.

— Саша, так нельзя. Меня за чучело будут принимать. Ах, как есть хочется!

— И мне, моя мышка. Пойдем на ферму.

Они шли рука с рукою тихие, задумчивые, простые, как дети. Все улыбалось им. С высоких елей смеялись им длинные малиновые шишки, парку манил своею прохладой.

— Тебе нельзя со мною войти на ферму. Видишь, сколько там народа, — говорила Китти. — Я войду одна, а ты придешь потом и, будто места нет, подсядешь ко мне. Как незнакомый. Мы и разговаривать не будем.

На ферме было людно. Сидели чопорные дамы. В беседке за занавесками сидела княгиня Репнина с детьми и англичанкой, на галерее было много детей, студентов, барышень. Полногрудые девицы в белых передниках разносили молоко, кофе и чай с черным хлебом и поджаренными сухарями; пахло коровами, пронзительно кричал павлин.

Китти входила, стараясь иметь самый невинный и независимый вид. Лицо ее горело, и следы еще неостывшей страсти были на нем. Светлые локоны небрежно развевались над ушами, платье было помято, на башмаках и шелковых чулках лежала пыль. На нее косились. Ее все знали — Катьку-философа.

Она садилась, стараясь не замечать недовольных взглядов, и заказывала кофе и стакан сливок.

Через минуту входил Саблин. Свободных столиков было немало. Но он подходил к Китти, церемонно спрашивал разрешения сесть и садился. Они делали вид, что молчали. Но Китти не могла удержаться и одним губами говорила ему:

— Я тебя безумно люблю.

Он потуплял глаза, краснел и отвечал ей чуть слышно:

— Моя мышка!

И оба смеялись.

А потом, напившись кофе и сливок и каждый за себя заплатив, они выходили. Он раньше, она — за ним. И все видели их комедию и осуждали их. Они одни ничего не замечали.

Под елкой с малиновыми шишками он ожидал ее. И они шли уже не стесняясь под руку, в такт раскачивая бедрами, и он прижимал ее локоть к себе.

Дома она оставляла его одного до завтрака. Потом был завтрак, обильный, с вином. Подавалось все то, что он любил. Она тонко выпрашивала его об этом. После завтрака он полулежал на диване, а она пела. Она пела так, как пели в те времена все петербургские барышни.

Ни хорошо, ни худо. Много музыкальности, чувства, плохо поставленный голос и недоконченные обрывки, говорящие о страсти, о любви, о неудовлетворенном чувстве. То по-французски, то по-русски, начнет и не кончит, оборвет, долго перебирает по клавишам, сыграет тихий певучий вальс и начнет что-нибудь снова.

Саблин дремал. Иногда откроет глаза и долго и счастливо смотрит на нее. Щеки ее горят румянцем, глаза кажутся большими от потемневших век. Он закрывает глаза и тихо слушает в истоме.

Вот повторился мотив. Какою-то мукою звучит он. Саблин открыл глаза.

«Вновь хочу и любить, и страдать!..» — Голос сорвался. Китти и плачет, плачет. Она знает, о чем плачет. Она знает, что любить ей придется так мало, а страдать?.. Всю жизнь.

Саблин кинулся утешать ее, она билась в слезах у него на груди, и долго он не мог ее успокоить.

— Не надо спрашивать. Я так, мой милый. Просто так!.. От счастья!

## XVIII

Они взяли лошадей в манеже и поехали верхом в Гатчино. Было жарко. У Орловской рощи они остановили мороженщика с синей тележкой, слезли с лошадей, купили мороженое, сели на высоком откосе, поросшем лесною земляникою, и ели щепочками мороженое, положенное на листки картона. Лошади рядом щипали траву, и их головы почти касались красивого лица Китти. Темный лес шумел сзади, и дубы таинственно шептались между собою. Было тихо и хорошо на сердце. Вернувшись, она лежала, усталая, на кушетке, а он сидел и читал газеты.

Каждый день нес новую радость. В субботу утром он съездил в полк, пробыл четыре часа на занятиях сторожевой службой, узнал, что в понедельник занятий не будет, а во вторник выступление на маневры, и к обеду был у Китти, соскучившийся по ней, освеженный соприкосновением с полком, жаждущий новых поцелуев.

Но страсть утомляла. В понедельник он простился уже без большого сожаления и на извозчике поехал в Красное, обещав к обеду с тем же извозчиком вернуться.

Он приехал к себе около часа дня и узнал, что за ним три раза утром присылали от адъютанта, а теперь его ожидает записка из канцелярии. Недоброе предчувствие сжало его сердце.

Записка была официальная. «Немедленно по возвращении в лагерь вашему благородию надлежит явиться полковнику князю Репнину по делам службы. Форма одежды — китель, шашка»... Такой тон не предвещал ничего хорошего. Почистившись, Саблин отправился к Репнину. Репнин жил на собственной даче, на спуске с холма, недалеко от офицерского собрания. Дача была большая, выстроенная в русском

вычурном стиле, бревенчатая, с башней, резными петухами над крыльцом и галереей. На звонок ему открыл двери денщик, одетый в синюю ливрейную куртку с большими плоскими пуговицами с княжеской короной.

— Его сиятельство очень просят обождать, — сказал он. — Они фрыштыкают.

Это тоже было не к добру. Как мог любезный и гостеприимный Репнин завтракать и заставить дожидаться своего однополчанина, своего товарища?

Если бы не было чего-нибудь особенного и, конечно, неприятного, князь пригласил бы его к завтраку, угостил бы его кофеем, сигарой?..

Саблин задумался. Он догадывался, в чем дело. Тут не обойдется без Китти, и он хмурил брови.

Он прошел в приемную. Это была большая, светлая комната, вместо обоев обшита фанерами, со стенами, увешанными английскими литографиями, изображавшими знаменитых скакунов. Посередине стоял массивный, тяжелый дубовый стол и на нем лежали газеты и журналы.

Саблин ходил по комнате и разглядывал литографии лошадей.

Князь Репнин, флигель-адъютант и пожилой офицер, отец и дед которого служили в этом же полку, был председателем суда чести офицеров и хранителем полковых традиций и достоинства офицерского мундира. Никто лучше его не знал истории и обычаев полка. Сухой, всегда затянутый в свой отлично сшитый у лучшего портного вицмундир, никогда и ни при каких обстоятельствах не напивавшийся, он уже одною своею холодною фигурою внушал страх молодым офицерам. Он все делал хорошо и ничем не увлекался. Он хорошо ездил верхом и имел прекрасную лошадь, но не был спортсменом. Он отлично стрелял, считался членом аристократического охотничьего общества, бывал приглашаем на царские охоты, но не был охотником. Он холодно играл в модный безик и винт, но никогда не унижался до игры в «тетку» и никогда его не видали за игрою в азартные игры. Он был женат, имел двух дочерей, таких же сухих, как он сам, девочек-подростков, говоривших по-английски лучше, нежели по-русски. Его жена, седеющая сухошавая дама, фрейлина Двора, была полным дополнением своему мужу. Помешанная на светских приличиях, визитах и тонных разговорах, она еще строже блюла все обычаи полка и неизменно следила за тем, чтобы офицеры в обществе вели себя прилично. Говорили, что несколько лет тому назад у нее был роман за границей с каким-то итальянским принцем, но этот роман прошел так скрытно, так чопорно-прилично, что даже те, кто рассказывал про него, сомневались сами, да было ли точно то, что они говорили. Она следила за поведением полковых дам, она безапелляционно судила, какие связи приличны и какие марают имя мужа и порочат полк, она наблюдала за тем, чтобы офицеры не ходили под руку в общественных

местах с артистками, как бы приличны и из какой бы прекрасной семьи они ни происходили. Офицеры втихомолку звали ее классной дамой, но боялись ее злого языка и властных привычек. Она каждому давала понять, что по прямой линии происходит от Рюрика и что ее предок, портрет которого сохранился, был постельничим царя Алексея Михайловича, и что у нее хранятся царские письма, адресованные ее пращурю.

У нее была одна слабость. Женить молодых офицеров, составлять и подыскивать им партии, которые во всех отношениях были бы хороши для полка.

Все это вспоминал Саблин, ожидая приема. Прошло полчаса. Его не звали.

«Как может он там спокойно есть, разговаривать с женой и детьми, когда знает, что я, его товарищ, его дожидаясь, — думал Саблин. — Как может он не пригласить меня, просто, по-товарищески. Вот, кичится своими манерами, любезностью, гостеприимством, а просто — хам. Солдафон — думает, что он полковник, а я корнет. Он гордый. Все офицеры давно на «ты» со всеми корнетами. И Степочка, и Гриценко, и даже адъютант, он один на «вы» и не только с корнетами, он и с Мацневым на «вы». Когда выпьет с кем-либо на брудершафт, так точно монаршую милость окажет. Не люблю я его!»

Саблин все больше озлоблялся против Репнина, хмурил густые, тонкие брови и морщил прекрасный лоб.

«Ну, уже и наговорю я ему! Все выскажу!» — решил он в ту минуту, как дверь отворилась, и ливрейный денщик сказал:

— Пожалуйте, ваше благородие, его сиятельство вас просят.

Саблин и денщика ненавидел. Ему казалось, что ливрея уже сделала солдата наглым и что он презрительно смотрит на него — корнета! «Подожди, голубчик, — думал он, проходя мимо денщика. — Я тебя подтяну когда-либо! Посмей мне только честь не отдать. Даром что княжеский денщик!»

## XIX

Князь Репнин стоял за своим письменным тяжелым столом. Он был в сюртуке, застегнутом на все пуговицы. Он не предложил Саблину сесть и не подал ему руки. Холодный стальной взгляд пронизал Саблина насквозь и приковал его к месту. Он невольно замер и стал смиренно, руки по швам.

— Корнет Саблин, — официально, холодным тоном начал князь Репнин. — Я пригласил вас потому... Я знал и глубоко чтил и уважал вашего отца. Я верю... Хочу верить, что для вас наш полк святыня. И потому я удивлен, как могли вы так легкомысленно позволить себе относиться к чести полкового мундира? Вы мараете мундир, корнет Саблин... Я не собираю суда общества офицеров, я не докладывал об

этом командиру полка только потому, что убежден, что одного моего слова будет достаточно для вас и вы бросите вашу пагубную страсть.

— Князь, — начал Саблин, — ваше сиятельство...

Репнин холодным взглядом блестящих серых глаз заставил его замолчать.

— Я не кончил, корнет Саблин, — сказал он холодно. — Я звал вас не для того, чтобы выслушивать ваши объяснения или оправдания. У вас нет оправданий. Только решительное обещание бросить пагубную страсть к уличной девке...

— Ваше сиятельство, я не позволю... — начал Саблин, бледный и тяжело дышащий, но холодный пронизывающий взгляд Репнина снова заставил его замолчать.

— В ваши физиологические потребности, корнет Саблин, я не вмешиваюсь, но никто не отправляет их публично, как это позволили себе сделать вы! Как могли вы позволить себе гулять под руку в Павловске, на музыке с уличной девкой?! Вы ездили с нею верхом, вы посещали такие места, как молочная ферма, где собираются наши семьи! Корнет Саблин, — по-настоящему — вы должны оставить наш полк, потому что вы не умеете с честью, достойно, носить его мундир. Да! Оставить полк. Этим, корнет Саблин, не шутят! Но я вхожу в ваше положение. Я понимаю, что молодость имеет свои права. И я оставляю это так. Я переговорил с другими членами общества офицеров, и мы решили закрыть на это глаза, но при одном условии, что вы сейчас же, сегодня же порвете и кончите вашу связь.

— Ваше сиятельство, — задыхаясь, проговорил Саблин. — Я...

— Корнет Саблин, я повторяю вам, я звал вас не для объяснений. Вы меня выслушали, я надеюсь, что поняли и усвоили. И... можете идти-с!

Раз-два, отчетливо, шелкнув шпорою, повернулся Саблин и не чуя ног под собою с глазами, затуманенными слезами негодования, вышел из кабинета князя Репнина.

Он не помнил, как дошел до своей избы.

Под ногами были скользкие доски тротуара, насланного по крутому спуску, из канавы торчали громадные лопухи, солнце светило уже по-осеннему бледно, временами застилали его тучи — Саблин не замечал этого. Он весь дрожал внутреннею дрожью волнения и злобы.

Оскорбили его. Оскорбили ее. Ее, любимую первую любовью. Ее, отдавшуюся ему с такою нежностью и беззаветною страстью!

«Что делать? Отомстить! Вызвать на дуэль полковника Репнина! Дать понять, что женщина, которую он полюбил, не уличная девка, и так говорить о его любви, как говорил он, нагло и цинично, он, корнет Саблин, не позволит. Он женится на Китти! Вот и все. И пусть... И пусть тогда княгиня Репнина принимает ее и пожимает ей руку и целуется с нею. Да, он женится. А почему и нет? Что она не девушка? Но она чище многих. Она-то будет верна ему. А вот все знают, что Маюцков ездит к тадамэ Мацневой, а когда Мацнев в карауле ночует у

нее, все знают, что Петрищева живет с корнетом Сперанским... А ведь молчат... А что Китти... А вот возьму и женюсь! Им назло!..»

Представил себе Китти своею женою. Каждый день одно и то же: приторный разговор, запах духов гиацинта и пудры, полное тело и мучительные ласки.

Саблин тряхнул головою. Они надоели ему за пять дней, и хотелось отдохнуть от них. А тут каждый день. Каждый день мурлыканье за пианино и недопетые песни о любви и страсти.

Полковой праздник. Ложа в манеже, убранная цветами полка. Императрица, великие княгини и Китти со своею простою доброю улыбкой и полными белыми руками.

Саблин поник головою. Он понял, что это невозможно. Репнин прав. Она не полковая дама. Полк обязывает, полк требует иного отношения к женщине, иной женщины.

Удовлетворенная, пресыщенная страсть не просыпалась. Холодный рассудок вступал в свои права. Она или полк. *Наш полк* — такой прекрасный, могучий и великий. *Наш полк*, неразрывно связанный с Россией и Царем.

Саблин все больше понимал, что совсем иные отношения у него должны были бы быть к Китти, и по-иному он мог любить ее. Да и мог ли он ее любить?

В маленькой комнате сгущались сумерки. Окно пропускало мало света. Небо хмурилось и покрывалось тучами. Дождь надвигался. Саблин ходил взад и вперед и то гневно сжимал кулаки — и краска заливала его лицо, и он сыпал проклятиями, — то шептал что-то и что-то придумывал.

Саблин вспомнил роскошные завтраки, обеды и ужины у Китти. Вино, коньяк, ликеры. Все покупалось ею, на ее счет. А на какие деньги? Откуда она брала деньги, чтобы кормить и баловать его?

Он остановился у окна, заложил руки в карманы. Даже посвистал.

«Корнет Саблин, — сказал он сам себе, — какой же вы дурак... и негодяй».

Он позвал денщика, приказал сказать извозчику, чтобы он запрягал и собирался ехать обратно в Павловск с письмом на Фридриценскую, а сам сел писать.

Не клеилось письмо.

«Милая Китти, — начал он. — Обстоятельства так сложились, что я не могу приехать сегодня. Завтра маневры. Итак, на две недели мы оторваны друг от друга. Прощай, милая мышка, пожелай мне счастливого пути и не поминай меня лихом. Тысячу раз целую твои сахарные уста. Свидимся опять после маневров. Жди меня и не тоскуй, моя золотая. До свидания. Твой Саша».

Саблин вложил в письмо пятьсот рублей, но когда запечатал, то понял, что деньги оскорбят ее. Не так любила она его, не так ему отдавалась, чтобы нужно было за это платить.

Саблин распечатал письмо и вынул деньги. Задумался. Но как же, обеды, ужины, вино?.. Приписал: «Р. С. Мышка, я должен тебе за твоё угощение, напиши сколько, рассчитаемся. Я не хочу, чтобы ты ещё и тратилась на меня. А. С.»

Запечатал и послал.

## XX

Когда Китти получила это письмо, она залилась слезами. Она знала, что он ее бросит, но так скоро! Этого она не ожидала. В пять дней, в пять счастливых дней сторела вся ее жизнь и ничего у нее не осталось. Даже фотографической карточки его у нее нет. Тогда попросить не догадалась, а теперь поняла, что не даст. Эта маленькая приписка о деньгах, это «до свиданья», говорившее «прощай», этот холод делового письма, ей все сказали. Она поняла, что Саша и его Мышка умерли — их нет больше, и остался корнет нашего полка Саблин и Катька-философ. Портрет Саши мог красоваться на столе у Мышки, но портрету корнета Саблина не место в спальне Катьки-философа.

Китти рыдала, ваяясь на кровати и уткнув лицо в подушку. Ревела и плакала, то тихо, заливаясь слезами, то вскрикивая и обводя безумными глазами свою спальню, полную жгучих воспоминаний о нем.

Если бы был под рукою яд — отравилась бы сейчас же. Но, когда подумала об этом, решила иначе. Она должна его повидать еще раз, она должна проститься, как следует, а там — «пропадай моя телега — все четыре колеса! Хоть в омут!.. Все равно... Если буду жить — буду жить тем, что было. А ведь было же это все: и прогулки по парку, и утренний кофе на ферме, и поездки верхом в Орловскую рощу возле Гатчины. Было... И когда станет уж очень гадко, приеду и сяду за тот столик, на ту скамейку, где сидели вдвоем, и буду вспоминать... А уж будет невмоготу — там с его именем на устах и умру».

— Э! Все равно! — крикнула она отчаянно. — Б... я разнесчастная! Так мне и надо!

Китти вскочила, бросилась к зеркалу и стала отмывать и оттирать следы слез, причесывать и укладывать золотистые волосы в нарядную прическу, отыскивала шляпу понаряднее, более идущую к лицу, не думая ни о дожде, который уже с полчаса как пошел, мелкий, упорный, зарядивший на целый день.

Она поехала в магазин покупать ему сласти и закуски, какие он любил на маневры. Не только она ничего от него не возьмет, но забалует и задарит его на прощанье. Это было ее гордостью, и это утешало и тешило ее. В десятом часу вечера с лицом, покрытым дождевою пылью, она подъехала его домику в Красном и постучала у двери и думала об одном — только бы застать дома. Одного. Не было бы никого у него.



Саблин был один. Он укладывал с денщиком чемодан на маневры. Вахмистр прислал сказать, что подвода с вещами господ офицеров пойдет в пять часов утра.

Когда она вошла, он удивился и обрадовался. Но и сильно смутился, услал денщика ставить самовар. Топтался на месте, не знал, куда ее посадить.

— Китти, милая. Как же ты так? Вот хорошо-то. Промокла, моя ненаглядная. Ах ты, мышка моя серенькая.

Он грел своими теплыми руками ее застывшие холодные руки. Она продрогла в ночной сырости и на ветру.

— Смотри, простудишься! Ах, какая ты сумасшедшая. Скорее горячего чаю.

Она смотрела на него внимательно, долго, точно хотела впитать в себя его образ и унести с собою навеки. Губы ее дрожали, зубы стучали от холода, а более от внутренней лихорадочной дрожи волнения.

— Завтра на маневры, — сказала она дрожа.

— Да. Недели на две. А там... К тебе. Если позволишь?

— Укладываешься, — сказала она и нагнулась, чтобы скрыть слезы, набежавшие на глаза, и дрожание губ. — Что же ты положил? Постой, разве у тебя две пары смазных сапог?

— Одна, — ответил он.

— И ты ее уложил. Сумасшедший, сумасшедший, а в чем же поедешь-то?

— Я хотел в лакированных, — сказал Саблин.

— В такую-то погоду! И их загубишь, и сам простудишься... Нет, нет, никуда не годится. Для чего столько рубашек и кладешь вместе с сапогами, ведь помнутся. Ну-с, милостивый государь, извольте-ка скидывать с себя лакированные и обувать эти, я уложу все иначе.

Китти уже справилась с собою. Она хотела быть полезной ему и заменить ему мать. Ведь у него, бедного сиротки, и матери нет. Кто подумает о нем? Кто пожалеет его?

— Саша, вот смотри, тут внизу я положу тебе шерстяные чулки, ты должен обувать их, когда такая погода, как сейчас. Тут белье, тут сапоги, отдельно, переложенные бумагой, а здесь наверху я положила свежую ночную рубашку, твои книги, а с ними вместе я положу тебе мой маленький подарок: твою любимую клюквенную пастилу и полендвицу. Будет сыро, не захочется идти в собрание, будешь у себя в палатке пить чай и вспоминать меня.

В ее ловких руках чемодан преобразился. У Саблина с денщиком не хватало места, придумывали какие-то корзинки, у Китти все уложилось, и еще место осталось. Денщик принес самовар и понес в эскадрон чемодан. Они остались одни. За окном монотонно лил дождь, и звенела вода в лужах, здесь ярко горела лампа, сильнее чувствовался запах духов. Они сидели и пили чай. Молчали. Говорить было не о чем. Все слова любви были им сказаны за эти пять дней безумной страсти, а новых не было. Душевная мука состарила ее лицо, и оно не

казалось более привлекательным. Каждую минуту мог вернуться Ротбек, войти денщик. Надо было торопиться, прощаться и уезжать.

— Мой дорогой! Мой милый, будешь ты помнить меня? — сказала она.

— Китти, но мы не навеки прощаемся. Отчего ты такая? Она заплакала. Он стал ее утешать.

— Не надо... не надо, милый, — говорила она, чувствуя, как поцелуи его становились горячими и страстными.

Но ему показалось, что она затем и приехала, иначе прощание будет не настоящее, и он овладел ею на своей узкой походной койке. Ни ему, ни ей было не до страсти, и эта вспышка еще более отшатнула его от нее. Он стал торопить ее. Он не думал, что глухая, непогодливая ночь стоит на дворе, что страшно ей одной ехать по пустынному шоссе. Когда потом он вспоминал эти минуты, он всегда мучительно краснел. Свою жену, сестру, мать, жену товарища он никогда бы не отправил так, одну в ненастье. Она почувствовала, что она лишняя, стесняет его, стала торопиться. Она не оправляла растрепанных волос — оделась кое-как — не все ли равно теперь! Ей было больно и стыдно. Она почувствовала, что вся красота их павловского романа прошла. Она больше не верная, любящая подруга нежного Саши, а девка, приехавшая на визит к гвардейскому офицеру. Она страдала ужасно. Китти потом сама удивлялась, как тогда не застрелилась у него на его руках. Тогда не могла, слишком любила, не хотела тревожить его.

— Прощай, — сказала она.

Он стоял спиной к ней. Он опять достал свои пятьсот рублей и неловко сворачивал их, чтобы засунуть ей за корсаж. «Кажется, так делается», — думал он в сильном смущении.

Она увидела деньги и догадалась.

— Саша! — воскликнула она, бледная, — ты не сделаешь этого, не оскорбишь меня! Я тебя так любила!

Она упала на колени перед ним, обняла его ноги и целовала их.

— Прощай! — чуть слышно сказала она, встала и, шатаясь, вышла за двери. Он торопливо надел китель и побежал помочь ей сесть. Извозчик спал внутри коляски и долго не мог понять, в чем дело. Она в легонькой шелковой мантилье без зонтика дождалась, пока Саша разбудит его я раскроют ворота двора. Одна рука ее была в ажурной перчатке, другая голая, забыла перчатку у Саши и не хотела вернуться. Примета плохая. Пусть останется у него на память. Оба думали: «Скорее! Скорее бы!» Обоим было неловко и тяжело. Наконец она села, и извозчик тронул со двора. Она забилась в самый угол, плакала, рыдала и вся тряслась в судорожных спазмах.

«Эк ее! — думал извозчик. — Видно, много горя натерпела бедняжка».

Он был старый красносельский извозчик. Всю жизнь он прожил при господах и знал, что случилось. Много он видал на своем веку та-

ких драм, женских слез и рыданий. И отравлялись потом, и стрелялись, и топились.

«Впрочем, больше топились», — философски-спокойно заключил он свои размышления.

— Да! Дела! Ну, видно, и эта тоже. Готова! Не выживет. Побаловалась, а теперь — куда! Ну — дорога известная!..

## XXI

Трубачи всем хором ездили по деревне и играли «генерал-марш», — указывая, что время седлать. Но заботливые вахмистры уже давно распорядились седловкой, и теперь взводные по дворам осматривали людей, все ли в порядке.

Дождь зарядил на несколько дней. Мелкий, въедливый, холодный и методичный. Люди ежились в рубашках и в ожидании приказа выводить сбивались кучами под сараями. Туман лохмотьями носился над землею, и было грустно и уныло. Березы за одну ночь начали желтеть. Пахнуло осенью. Охрипшие трубы срывались с тона.

Всадники, други, в поход собирайтесь,  
Радостный звук вас ко славе зовет,  
С бодрым духом храбро сражайтесь,  
За Царя, Родину сладко и смерть принять, —

пели они хором. Но в сыром воздухе они звучали печально.

Саблин спал крепким сном, и румяный Ротбек, только что приехавший из Павловска, совсем готовый, в амуниции, принимал самые энергичные меры, чтобы его разбудить.

— Да вставай, несчастный! Опять без чая поедешь. А все женщины, — говорил он, глядя на брошенную на столе перчатку и ощущая в избе сладкий запах духов. — Эх, Саша! Саша!

— Ну чего там? — ворчал Саблин.

— Проспишь маневры.

— Который час?

— Четверть восьмого, а в половине восьмого строиться.

— Успею. — И Саблин действительно успел и при помощи расторопного денщика не только оделся, но и чаю напился.

Эскадроны медленно тянулись шагом по шоссе. Офицеры группами ехали впереди. Все были без шинелей, кроме Мацнева, который закутался в непромокаемый плащ и неистово бранился за то, что командир полка потребовал для примера людям, чтобы офицеры были в кителях.

— У всякого барона своя фантазия, — ворчал он. — Он того не понимает, что солдата все одно не обманешь. У каждого офицера шведская куртка или фуфайка поддета, а у солдата — ничего. Так чего же и форсить. Он того не хочет понять, что солдату двадцать три года, а мне

тридцать. У меня ревматизм, и ежели я промокну, мне плохо будет. Вот Саше или Пику — им ничего. Им хорошо.

— Хорошо, — отвечал Саблин. — А почему, Павел Иванович, людям не разрешили одеть шинели?

— Эх! Молода — в Саксонии не была! — воскликнул Гриценко. — А ты подумай. В военном деле зря ничего не делается.

— Баронская фантазия, — проворчал Мацнев.

— Чудак, ваше благородие, — сказал Гриценко, блестя цыганскими глазами. — Солдат на ночлег придет, ему укрыться надо сухим. У него ведь шинель одна — она и одеяло, и все. А ежели она промокнет насквозь, чем он укроется и согреется? Барон немец и солдат. Он это дело понимает точно. Я думаю, уже двадцатый год маневрирует под Красным Селом. Было когда изучить климат.

Полк входил в Гатчино. Вправо показалась высокая решетка дворцового парка. Плакучие ивы низко склонились над прозрачными прудами. Тучи клубились над густыми купами парковых деревьев, и печаль севера была разлита в туманном воздухе. Станный, причудливый ипохондрик Павел витал здесь своим духом и все полно было воспоминаниями о нем.

Трубачи заиграли полковой марш.

— Песенников не вызовешь? — сказал поручик Фетисов. — Может быть, вдовствующая императрица подойдет к окну.

— И то, — сказал Гриценко и звонко закричал: — Песенники, вперед!

— Какая императрица! — ворчал Мацнев. — Добрый хозяин в такую погоду собаку не выгонит, а он: императрица подойдет! На него любоваться будет.

— Слышишь, трубачи играют, — сказал Фетисов.

— Ну и пусть себе играют, — сказал Мацнев. — Эх, людей не пожалуют! А что, Павел Иванович, как думаешь, Сакс догадается собрание в школе поставить, а? Неужели в палатке? Там школа хорошая. И учительница невредная. Совсем и на учительницу не похожа. Не нигилистка и ручки такие — прелесть! Мы позапрошлым годом чай у нее на маневрах пили. Задорная такая. А я водчонки бы теперь хватил, с паюсной икоркой. Ты не знаешь, Дудак поехал за полком? Пока там собрание и прочее, я бы того, по единой прошелся!

Песенники, согретые в рядах, нахохлившиеся, сосредоточенные, выезжали неохотно. Любовин и вовсе не выехал. Вахмистр эскадрона увидел, что песенников мало, выскочил с палкой в руке и поехал выгонять людей вперед.

— Ты, Любовин, чаво аристократа ломаешь? Слышал, что песенники шумят, — грозно крикнул он.

— Я не в голосе, Иван Карпович, — хрипло ответил Любовин.

— Я тебе дам не в голосе! Пошел, сволочь, вперед! — И вахмистр палкой огрел по мокрому крупу лошадь Любовина. Та поддала задом, и Любовин поскакал вперед эскадрона.

Эскадрон подходил к дворцу.

Раздайтесь напевы победы,  
Пусть русское сердце вздрогнет!  
Припомним, как билися деды  
В великий двенадцатый год! —

хриплыми голосами пели песенники второго эскадрона. Впереди трубачи играли «Гитану» вальс, а сзади, из третьего эскадрона, гремел бубен, звенел треугольник, кто-то, заложив пальцы в рот, пронзительно свистал, и из-за этого гама вылетали отрывистые слова.

Носи, Дуня, не марай, не марай,  
По праздни — по праздничкам надевай, надевай!

Эскадроны выходили по подъему на круглую площадь с высоким серым обелиском и, огибая его, подходили к Гатчинским воротам. Впереди были серые чахлые поля, вдали темнел лес, и туман клубился над ним. Холодный дождь все так же сеял непрерывными струями. Над полком от лошадей поднимался белый пар... Песенники умолкали.

## XXII

Два дня было похода, и два дня лил дождь. Лицо вахмистра становилось озабоченным. Лошади худели. Они плохо выедали овес, не ложились на биваках на мокрую землю. Винтовки надо было почистить, потники просушить. Две лошади уже были подпарены на первом переходе, и виновные в недосмотре шли пешком за эскадронам. На третий день назначена была дневка на мызе барона Вольфа — «Белый дом». Офицеры строили широкие планы на эту дневку. Предполагался обед у барона Вольфа, фейерверк, музыка, танцы, песенники. Вся дивизия соединялась к этому времени и должна была стать громадным биваком на обширных сжатых полях, покрытых скирдами ржи баронского имения Вольф.

Накануне дневки, часов около трех, полк пришел на бивак. Высланные вперед, в распоряжение штаба дивизии линейные уже провели углы биваков, и эскадроны принялись за разбивку коновязей. Отовсюду слышался гомон людей, ржание коней, стучали колотушки, забивавшие коновязные колья. Дождь перестал. Густой туман спускался книзу, и одни знатоки метеорологии говорили, что это к солнцу и жаре, другие, пессимисты, уже не верили в то, что будет солнце, и говорили, что, напротив, это предвещает новые дожди.

Солдатские биваки вытянулись в точной правильности по шнуру. Все было размерено аршином, седла выравнены вдоль коновязей, интервалы проверены. Сзади каждого эскадрона была поставлена большая «интендантская» четырехугольная палатка — эскадронная канце-

лярия, в ней на кипах сена устраивалась эскадронная аристократия — вахмистр, каптенармус, писарь, артельщик и фуражир. Подле складывали фураж, и на треугольнике из жердей привесили тяжелые весы — безмен. Еще дальше дымили походные кухни. Они были выровнены дежурным офицером и провешены труба в трубу. Линейную красоту бивака нарушали офицерские палатки. Они были разной величины и фасона. У Гриценки с Фетисовым была круглая турецкая палатка, у Мацнева — индийская зеленого цвета с белой покрывкой, у Саблина с Ротбеком — датская домиком. Над каждой палаткой развевался свой цветной флажок. Флажки были разной величины, формы и цвета. Каждый ставил свою палатку там, где он хотел. Любители красоты поставили свое жилище у ручья в кустах, неженки, боясь сырости, удалились на вершину холма, другие, ища тишины, ушли от бивака на полверсты. Все поле кругом биваков пестрело этими палатками, придававшими лагерю вид цыганского табора.

Утро дневки было прекрасное. Солнце, не виданное три дня, выплыло на безоблачное небо яркое, радостное, жаркое. Тучи исчезли, и на горизонте застыло громадное кучевое облако, залитое розовым. Вахмистры подняли людей с пяти часов утра. Работы было так много, что боялись, что не управятся за день. Кроме обычных, но усиленных чисток и уборок лошадей, надо было постирать и успеть высушить рубахи, рейтузы и белье, вымять и высушить потниковые стельки, разобрать, отчистить и смазать ружья, побелить ремни амуниции, начистить стремяна и мундштуки, протереть оголовья. С утра в ожидании чая биваки кипели, как муравейники. Над разложенными по стерне попонами сидели на земле полуобнаженные люди и, пока сохло их выстиранное в речке белье и рубахи, они яростно отчищали части разобранных ружей. Взводные, заложив руки в карманы рейтуз, в одних нижних цветных рубахах ходили вдоль взводов и зорко смотрели, чтобы никто не ленился и не тратил времени даром.

Трубачи протирали и начищали позеленевшие от сырости трубы, доставали ноты и проигрывали упражнения.

Рядом в речке казаки купали лошадей и голые разъезжали по берегу. Их рубахи, тоже постиранные, были развешаны на кустах. С реки неслись крики, уханье, визг.

Этот гомон, завывание труб нисколько не мешали офицерам спать. Было одиннадцать часов утра, а большинство палаток было наглухо задернуто. Спали от нечего делать.

Гриценко, не одеваясь, сидел на койке и тренькал меланхолично на гитаре, Фетисов лежал, укутавшись с головою в одеяло. Мацнев у себя в палатке, тоже не одеваясь, читал французский роман — «*Mademoiselle Girot ma femme*»<sup>1</sup>. Саблин и Ротбек спали так крепко,

<sup>1</sup> «Барышня Жиро — моя жена».

как только и можно спать в очаровательный летний день в палатке в двадцать лет.

Денщики караулили своих господ подле палаток с кувшинами с водой, мылом и полотенцами, с подготовленными кофейниками и чайниками. У палаток офицерских собраний сутились повара в белых фартуках и колпаках. Там кое-кто из офицеров постарше пил кофе или чай и просматривал принесенные газетчиками свежие газеты.

Маневры для офицеров были праздником, веселым шумным пикником. Ни забот, ни трудов они не несли. Солдаты жили сами по себе, офицеры сами по себе. Вся тягота маневров ложилась на солдата. Солдату после длительного перехода приходилось зачищать и убирать лошадь, ходить за фуражом, нести его на себе, прочищать винтовку, седло, чистить сапоги. У офицера для этого были вестовой и денщик. Солдаты в кавалерии, если не становились по деревьям, спали на голой земле, накрывшись шинелями, так как кавалерия не имела палаток. Многие простуживались и заболели. Редкие большие маневры проходили без того, чтобы в каком-либо полку не было дизентерии или тифа. Офицеры имели собственные палатки, а в ненастье становились по избам, у знакомых помещиков или дачников. Несмотря на это, большинство офицеров не любило маневров, тяготилось ими. Кто постарше старались «отдуться» от маневров и уехать в отпуск. Солдаты, напротив, несмотря на все тяготы и невзгоды, любили маневры. Жизнь на маневрах напоминала им деревню, они соприкасались с крестьянами, видели поля и леса, часто пили молоко, ели не только казенный, но и крестьянский хлеб. Маневры походили на войну, служба становилась осмысленной, понятной, гонялись за разбедами, брали в плен, на больших биваках встречались с другими полками, отыскивали земляков, которых давно не видели, разговаривали с ними, узнавали новости. Тяжесть работы, усталость забывались, и солдат чувствовал себя свободнее.

На биваке, пригретом солнцем, то тут, то там вспыхивала песня, слышались шутки и смех. Солдаты не обращали внимания на то, что господа спят. Да и что бы они делали? Только мешали бы, для них на дневке не было работы. Надзирателей и без них было довольно. Вахмистр и взводные не дремали. Солдаты не осуждали, но считали естественным, что Фетисов с ружьем и собакой, в сопровождении сына управляющего пошел на охоту, Мацнев, Ротбек и Сперанский отправились играть в теннис, а остальные разбрелись, кто пошел за грибами, кто лежал в палатке или, сидя на стуле подле, озабоченно чистил ногти.

На то *господа*. Это было два мира. Офицеры и солдаты. Два мира, живущих вместе, но недоступных один другому.

Саблин, наблюдая из своей палатки за биваком, чувствовал это. Он сознавал ненормальность этого, ему казалось, что и ему надо пойти к солдатам, что-то делать, о чем-то говорить с ними. Рядом в палатке брэнчал на гитаре Гриценко. Саблин подошел к нему.



— Павел Иванович. Не надо ли мне пойти в эскадрон? Может быть, надо что-либо сделать? — спросил он.

Гриценко перестал играть, поднял на Саблина свои большие черные глаза, посмотрел на него с недоумением и сказал:

— Зачем? Только мешать будешь. Там вахмистр и взводные без тебя лучше управятся.

### XXIII

В пять часов пошли к помещику обедать. Когда входили, в ворота парка въезжали верхом офицеры казачьего полка во главе с командиром, тоже приглашенные к обеду. Саблин посторонился, чтобы дать им дорогу. Впереди на соловом жеребце ехал полный генерал с красным лицом и большими седыми усами с подусками — ни дать ни взять Тарас Бульба. Серебряная нагайка висела у него через плечо, широкие шаровары и мягкие сапоги, длинный чекмень и фуражка на затылке придавали ему лихой, азиатский вид. У казаков лошади были легче и наряднее, нежели в полку Саблина. Свободно, не связанные мундштуками, подняв точеные головы с большими ясными глазами, раздувая тонкие ноздри, они проходили просторною ходкою в ворота. Было что-то особенно легкое в их движении. Саблин невольно подумал про них: «Вот настоящая кавалерия».

Хозяин дома, барон Константин фон Вольф, стоял наверху открытой каменной веранды, усаженной цветами, и встречал гостей. На нем был черный смокинг поверх белого пикейного жилета и по-летнему, по-домашнему серые клетчатые брюки. В петлице смокинга была ленточка прусского Железного креста, полученного им в последнюю войну с французами. Рядом с ним в нарядном светло-лиловом с белыми кружевами платье стояла его жена, красивая, светлокудрая женщина лет сорока. Она была фрейлиной Императрицы.

Столы для обеда были накрыты на лужайке под вековыми липами, посаженными, по преданию, Петром Великим при завоевании им Ингерманландии. Под липами устанавливалось два хора трубачей и две группы песенников полка, где служил Саблин, и казачьего. Немного поодаль на специальном теннис-гроунде Ротбек, Сперанский и с ними две дочери барона — двадцатилетняя София и семнадцатилетняя Вера — играли в теннис. Юноша — камер-паж, племянник барона, молодой барон Корф, выходящий в этом году в полк Саблина, — подавал им мячи. Обе барышни были красавицы. Ловкая, гибкая, отлично развитая гимнастикой и верховой ездой Вера каждый мяч подавала классическим жестом. Ее звонкий, чистый голос раздавался между кустов, оживленный и счастливый. Офицеры группами стояли около играющих и любовались ими.



Казачьи офицеры слезли с лошадей, подхваченных лихими, расторопными вестовыми, и толпою пошли за своим командиром представляться хозяевам.

Кроме офицеров, на обед приехали: жена полковника Репнина с двумя дочерьми, два барона Вольф с женами — один Вольф Куртенгофский, у которого в гербе был черный волк на золотом поле, и другой Вольф Дростенский, у которого был золотой волк на черном поле, сосед, помещик Мюллер с тремя розовыми барышнями-блондинками Эльзой, Идой и Кларой, смущавшимися перед офицерами, неловкими деревенскими дичками, от которых, по уверению Мацнева, молоком пахло. Платья у них были домашние с черными бархатными зашнурованными лентами корсажами, и они напоминали офицерам певец-тиролек, поющих на открытой сцене. До самых танцев никто не мог открыть — говорят они по-русски или нет, а веселый шутник Фетисов сомневался даже, говорят ли они вообще. Они на все отвечали только — «Ach ja... Ach so!»<sup>1</sup> или просто скромным: «Ах», потупляли глаза и потели так, что пот крупными каплями выступал на лбу и на груди. И только за танцами оказалось, что они окончили Гатчинскую гимназию и отлично говорили по-русски и, значит, поняли все те пошлости, которые, не стесняясь, отпускали на их счет офицеры. Это, впрочем, не помешало им быть очень благосклонными к своим кавалерам. Было и еще несколько помещиков-немцев, названных бароном общим именем «мои друзья!».

Сам барон каждого приветствовал долгим пожатием руки, причем ласково заглядывал в глаза и говорил: «Прошу пожалуйста!»

Несмотря на то что барон родился в России и всю жизнь прожил в России, он по-русски почти не говорил. Компанию ему сейчас же составил барон Древениц, и они заговорили по-немецки.

Трубачи заиграли марш, и кавалеры, у кого нашлась дама, пошли под руку к столам. Случайно так вышло или это нарочно подстроила княгиня Репнина, знакомившая в эту минуту Саблина с баронессой Верой, но ему пришлось идти к столу с ней. Его сердце дрогнуло, когда он почувствовал худенькую детскую руку, доверчиво опершуюся на его локоть. Он посмотрел в ясное лицо девушки. Невинные чистые глаза устремились на него с искренним восхищением, и Саблин смутился. Ему стало стыдно под этим чистым взором.

Казачий генерал был кавалером хозяйки дома. Он был старшим гостем, давно знал баронессу и ухаживал за нею, рассыпаясь комплиментами.

— Как хорошеет Вера, — сказал он. — И какая дивная пара она с этим молодцом корнетом. Кто это такое?

— Не знаю, — сказала баронесса, щуя свои прекрасные близорукые глаза и грациозным жестом прикладывая к ним лорнет. — Его представила княгиня Репнина. Это достаточная рекомендация.

<sup>1</sup> Ах, да... Ах, так!

— Вера кончила уже институт? — спросил казачий генерал.

— Да, в этом году. С шифром, — отвечала баронесса.

— Будет жить в деревне? Ведь она такая любительница природы. Она у вас и с ружьем охотится?

— Они обе у меня сумасшедшие. Скачут по лесам, совсем мальчишки. Но только теперь она останется в Петербурге, я хотела бы, чтобы она была ко двору представлена и как фрейлина попала со мною на коронацию.

— Иван Кузьмич, — обратился к казачьему генералу через стол своим хрипловатым голосом Степочка Воробьев. — У нас тут спор с вашим полковником о джигитовке. Скажите: имеет джигитовка какое-нибудь боевое значение?

— Бессмысленны кувырканий на лошадь, — сказал барон Древениц. — Казацки глупость. Нога, рука ломать, лошадей портить.

Казачий командир сверкнул сердито глазами и громко отвечал Степочке:

— А как же! Громадное воспитательное значение. Она приучает казака презирать опасность, делает его смелым и развязным на коне.

— Да, да, все это так, — сказал Степочка, — нет, а на войне вам приходилось подметить, что джигитовка нужна.

— Ну как же, — отвечал казачий генерал. — Я помню два случая... А их, я уверен, были тысячи. Как сейчас помню под Карагасан-киошем казака Пимкина. Рассыпались мы стрелковою цепью против башибузуков. Коноводы в балочке сзади. Башибузуки насаждают. Надо уже уходить. А Пимкин замешкался. Все посели на коней, он один остался. Наконец уже под самыми башибузуками бежит к коню. Коновод бросил ему лошадь, а сам уходить. Лошадь поскакала за другими, Пимкин только ухватиться успел за луку. Ну, только джигит он был хороший. Повис, поджал ноги, висит на луке, скачет добрый конь. Выждал Пимкин, *дал толчка* ногами о землю и очутился в седле. Оборвись он, не сумей вскочить — разорвали бы его башибузуки!

— Ну, а другой случай? — спросил князь Репнин.

— Про другой мне рассказывал сам участник, урядник Быкадоров. Настиг его башибузуки. Скачут рядом. Быкадоров хотел ударить шашкой башибузука, но тот ловко подставил клинок своей сабли. Закалкали златоустовского клинка была плохая или что, но клинок у Быкадорова разлетелся от могучего удара, как стеклянный. Ну — смерть неминуемая. Тогда Быкадоров быстро снизился за лошадь, как на джигитовке, когда землю достают. Башибузуки ударили, и удар пришелся по воздуху. А Быкадоров, вися вниз головою, вытянул берданку из чехла — тогда, помните, в кожаных чехлах их возили, приподнялся и пулей в живот уложил башибузука.

— Ловко, — сказал Степочка.

— Что такое джигитовка? — спросил барон Вольф.

— А вы никогда не видали джигитовки? — сказал казачий генерал.

— Нет. Не видал.

— И вы, баронесса, не видали?

— Нет.

— И ваши милые дочки?

— Где же им видеть.

— Ну, так я угощу вас своими молодцами. Да и сам тряхну старинной, проджигитую перед прелестной хозяйкой, — и казачий генерал галантно поцеловал руку баронессы.

— Платоныч! — крикнул он на другой конец стола своему адъютанту. Адъютант, толстый мужчина, в пенсне, в рыжеватых усах с подусками, начинавший лысеть, подошел к генералу.

— Пошлите-ка кого из трубачей на бивак, пусть джигиты прискачут сюда, полковые, человек двадцать. Да моего Взрыва пусть вестовой подаст.

— Слушаю, — отвечал адъютант.

— Боже мой, — сказала баронесса, — неужели и вы, генерал, будете джигитовать?

— А отчего нет, милая барыня, — сказал генерал. — Вы пожалуйста мне ваш платочек, я его положу на травку и подниму его себе на память о прекрасной даме.

И разошедшийся генерал пошел отбирать платки от дам и барышень.

## XXIV

Двадцать казаков-джигитов приехали и слезли на окраине лужайки. Лихой рыжебородый вахмистр, силач и великан, полным карьером подлетел к генералу и осадил коня так, что он присел на зад и вытянул вперед передние напряженные ноги.

— Честь имею явиться, ваше превосходительство, — доложил вахмистр, прикладывая руку к фуражке. — Привел джигитов.

От могучей раскормленной фигуры вахмистра с громадной рыжей бородой, насупленными бровями, широкоплечей, грудастой, с громадными руками веяло первобытными временами. И он, и вороной его разевшийся конь просились в бронзу, на статую.

— Господа офицеры! — крикнул генерал, — по коням, джигитовать! Хорунжий Коньков, распорядитесь джигитами.

Высокий, худой офицер с густыми волосами, выбивавшимися из-под фуражки, подбежал к генералу.

— Разложите платки, Коньков, — ласково сказал генерал, — а этот я сам положу — особо. Вера Константиновна, ваш платочек?

— Я дала, — смущенно сказала девушка.

— Где же? Девушка подошла и показала маленький ажурный платочек.

— Нелегко поднять такую крошку, — сказал генерал. — Ну, Коньков — это ваш, смотрите, не осрамитесь.

— Постараюсь, ваше превосходительство, — сказал молодой офицер.

Отодвинули столы, за которыми пили кофе и ликеры; трубачи и песенники стали стеной по другую сторону. Дамы и гости вышли из-за столов, чтобы смотреть джигитовку. Вестовой казак бегом подвел генералу его солового коня. Генерал проверил подпруги, скашовку<sup>1</sup> и легко, берясь по-калмыцки правой рукой за переднюю луку, сел на коня.

Сначала джигитовали офицеры. Первым проскакал генерал и, не смотря на свои седины и значительную полноту стана, легко согнулся и концами пальцев достал платок хозяйки дома и на скаку поцеловал его. Смуглый офицер вскакивал и соскакивал на полном карьере, Коньков на золотистом, сверкающем на заходящем солнце червонцами жеребце легко согнулся тонким станом и из десятка платков, раскиданных по траве, без ошибки выхватил платок Веры Константиновны и потряс им над головой.

Целой ватагой, группой, стоя на седлах с винтовками в руках, проскакали казаки и выстрелили вверх. Потом началась одиночная джигитовка.

На ловком гнедом коне скакал молодой черноусый казак. Едва поравнялся он со зрителями, быстро перекинул правую ногу через переднюю луку, соскочил на землю, коснулся ногами земли и очутился сидящим задом наперед на шее лошади. Он сейчас же соскочил снова на правую сторону лошади и вскочил прямо в седло и так проделал несколько раз.

Другой скакал вниз головой, упершись плечами в подушку седла и вытянув чуть согнутые в коленях ноги. Третий соскакивал с лошади, давал сильный толчок о землю и перелетал через седло и снова давал толчок и снова летел через седло. Он точно порхал над лошадью, не касаясь седла.

Этот привел в восхищение не только дам, но и офицеров, и солдат-трубачей и песенников.

— Такими надо родиться! — сказал князь Репнин.

— Степь родная воспитывает такими. Ведь это лучшая забава наша по станицам и хуторам, — сказал казачий генерал. — Уничтожьте джигитовку, и вы уничтожите казака!

Один казак хотел что-то сделать, но, верно, ему не удалось, он упал с лошади — перевернулся и остался лежать на траве.

Дамы заахали. Офицеры хотели броситься помочь ему, но генерал остановил их.

— Оставьте, — сказал он, — это нарочно. Игра такая. Сейчас подскочет другой, положит свою лошадь и увезет мнимо раненого.

---

<sup>1</sup> *Скашовкою* называется ремень, соединяющий у казачьего седла путлища обоих стремян под животом лошади и позволяющий казаку нагибаться и доставать руками земли на скаку лошади.

Но он ошибся. Из толпы казачьих песенников выбежали несколько человек и унесли казака. Он расшибся.

— Платоньч, — сказал генерал, — узнайте, в чем дело. Адъютант побежал к песенникам и сейчас же вернулся.

— Ничего серьезного, — громко сказал он, — уже садится на лошадь. Сейчас скачет.

А потом, отведя генерала в сторону, тихо сказал: «Сложный перелом голени!»

Джигитовка продолжалась. Скакали группами. Два казака скакали на одной лошади, лицом друг к другу, один сидел на шее, другой — на крупе позади седла, и оба делали вид, что играют в карты. Двое скакали рядом, а у них на плечах стоял хорунжий Коньков. Каждая группа была риском разбиться насмерть в случае, если лошадь споткнется, каждая требовала силы рук и ног и уверенности в мускулах, каждая была своеобразно красива, но смотрели их уже не столько с восхищением, сколько с сердечным волнением. Гости поняли, что это риск.

Когда последняя группа проскакала, казачий генерал поблагодарил джигитов и отпустил их на бивак.

— Ви позволяет, — сказал барон Вольф, — я им угощение дам. Пива, водки, колбасы, ситного хлеба.

— Пожалуйста, — сказал генерал. — Очень вам благодарен. Только водки много не давайте. Им в два часа ночи выступать на маневр.

— О, по единой шкалик, — щеголяя русским выражением, сказал барон Вольф.

Гости сели за прерванные ликеры. Песенники казачьего полка подошли к столам. Любовин, бывший со своими песенниками, подошел поближе. Ему хотелось наблюдать и слушать казаков. Хотелось понять их. Казаки сильно отличались от солдат. Длинные, в скобку остриженные волосы, красивыми кудрями выбивавшиеся из-под фуражек, придавали им свободный, не солдатский вид. Много было бородатых с широкими волнистыми бородами. Казаки были шире в плечах, могучее, развязнее, нежели солдаты, не так тянулись перед офицерами. Лица не были тупые, смотрели весело и пронизательно. Красавец урядник, высокий, стройный, с черными маленькими усиками и черными кудрями, молодец и лихач, вышел перед хор, обвел его черными глазами и страстно, скороговоркой сказал:

— Нам сказали про Польшу, что... —

он остановился и бросил отчетливо:

— богатая.

И более протяжно выговорил, как бы с разочарованием:

— А мы разузнали: голь проклятая.

И сейчас же хор вступил плавными аккордами, все время прерываемыми звонким тенором подголоска и безконечными переливами нот:

А в этой во Польше — корчемка стоит,  
Корчма польская, королевская.  
А в этой корчемке — три молодца пьют,  
Прусак, да поляк, да млад донской казак.

«Записать эту песню, — думал Любовин, — невозможно. Да и запомнить мотив трудно. Азиатчина какая-то! Дикая песня. Но мелодия есть. Какая-то тоже дикая».

Любовин присматривался к лицам казаков. Чисто русские лица, как картинах Московского периода. «Ни дать ни взять — московские бояре рынды, стрельцы — не современные лица, и песни не современные. Такой музыки теперь нет. Ей аккомпанировать на скрипке или на фортепиано нельзя, разве пастушья свирель уследит за этими переливами голоса что делает подголосок высоким, покрывающим хор тенором».

— Прусак водку пьет — монеты кладет,  
Поляк водку пьет — червонцы кладет,  
Казак водку пьет — да ничто не кладет.

«Хорош! — подумал Любовин. — Корнет Саблин говорит нам всегда, что песня должна воспитывать солдата. Вот эта песня точно что воспитает солдата. Недаром про казаков и слава идет: воры казаки».

— Он по корчме ходит, шпорами гремит,  
Шпорами гремит, шинкарку манит:  
Шинкарочка-душечка, поедем со мной,  
Поедем со мной да к нам на тихий Дон,  
У нас на Дону да не по-вашему.  
Не сеют, не жнут да не ткут, не прядут,  
Не ткут, не прядут, а хорошо ходют!

«Но почему же это так? Как разрешили эти люди социальный вопрос и устроили райское житье у себя, на Дону?» — подумал Любовин. И сейчас получил ответ.

— Соглашалась шинкарка, —

пели казаки, —

да на его слова.  
Садилась шинкарка да на доброго коня,  
Поехал казак да во темный лес,  
Повесил шинкарочку да на сосенку!..

Заканчивалась песня трагедией женской доверчивости, но ни напев, ни лица казаков не выражали печали, скорби или возмущения таким преступлением. Все было так же просто, как проста была и песня.

«Хороша мораль!» — подумал Любовин. Посмотрел на офицеров, на дам. Они смотрели на казаков с восхищением. Любовин смутно догадался, что и теперь разбойник всегда найдет уголок в женском сердце.

К нему подошел Саблин.

— Любовин, — сказал он ему, — собирай наших. Споем после казаков.

— Невозможно, ваше благородие, — с горечью сказал Любовин. — Разве наша песня пойдет после ихней. Пресна покажется. Тут свист и шум только и нужен. Увольте, ваше благородие.

И Любовин повернулся и пошел от Саблина. Саблин не рассердился. Он понял его. «Самолюбие артиста», — подумал он.

Казачьи пропели еще одну песню, а потом решили танцевать. Уже давно около площади толпились мызные работницы-эстонки в своих праздничных платьях, смотрели на солдат и казаков, и казаки и солдаты смотрели на них.

Трубачи заиграли вальс. Офицеры пошли приглашать дам. Но барышни Вольф отказались, они боялись испачкать о сыреющую в вечерней прохладе траву свои белые башмаки и чулки, стали танцевать только три розовые Мюллер, но увидели, что они одни, смутились и бросили. Лужайка опустела. Работницы не решались, танцы не клеились.

— Нельзя ли польку, — сказал барон, — наши больше польку танцуют.

Оркестр заиграл польку. Старый барон выбрал самую хорошенькую эстонку в синем платье с зелеными и желтыми лентами и пошел к ней к общей потехе. Его примеру последовали работники, стали выходить, смущаясь, солдаты, подталкиваемые офицерами, за ними казаки, и вскоре вся лужайка и песчаная площадка наполнились танцующими. Гремел и гремел неумоимо то тот, то другой оркестр польку, и сотни башмачков отбивали такт: раз, два, три; раз, два, три!

На потемневшем небе играли далекие зарницы, у самой чащи парка оружейный мастер с обозными солдатами заканчивали сооружение фейерверка. Вспыхнула и, шипя, полетела к небу ракета и лопнула яркою звездочкой, за ней полетели цветные римские свечи, огненный фонтан запыхал и вспыхнул изображенный бенгальскими огнями вензель шефа полка.

Танцы на минуту затихли, но сейчас же снова возобновились. Выпившие пива и водки казаки и солдаты стали развязнее, весело смеялись эстонки. Офицеры кто пил чай за столом, кто пошел бродить по парку, барышни Мюллер ушли с Коньковым, казачьим адъютантом, и Фетисовым и визжали на весь парк, когда лягушка выскакивала у них из-под ног.

Смоляные бочки пылали по краям лужайки, там кружились пары, гремела музыка, и маленькие башмачки и сапоги со шпорами отбивали веселый такт: раз, два, три, раз, два, три!..

## XXV

Любовин пошел в темную аллею. Ему хотелось быть одному. Все, что он видел, казалось ему сплошной мерзостью, издевательством над личностью человека. Особенно его возмутили казаки. «Хороши вольные люди, — думал он, — кувыркаются на потеху господам, ломают ноги для толстого немецкого помещика за бутылку скверного пива и стакан вонючей водки!»

Кто-то нагонял его. Он остановился и столкнулся с Коржиковым. На Коржикове был помятый пиджак поверх красной кумачовой рубашки и большая кожаная сумка с газетами.

— Здравствуйте, товарищ, — сказал Коржиков.

— Какими судьбами? — спросил, с удивлением оглядывая Коржикова, Любовин.

— Как видите — газетчиком. За ваше дело, Виктор Михайлович, взялся. Решил вам помочь. Изучить вопрос на месте.

— Смотрите, голубым архангелам не попадитесь. Да и кроме них много здесь всякой пакости бродит. Вот хотя бы взять этих самых казаков. Видали?

— Видал. Я ведь, Виктор Михайлович, осторожен. *Langsam — ruhig!*<sup>1</sup> общите меня и кроме «Русского Инвалида», «Нового Времени», «Петербургской Газеты» и «Листка» ничем не торгую. Даже «Биржевых» не имею. Наиблагонамереннейший газетчик, Виктор Михайлович! Вчера весь день в армейской пехоте под Ямбургом торговал. Ну и нравы, знаете! Офицеры перепились и при помощи солдат ночью штурмом дачу брали, хотели вытащить барышень... Да... Я сбегал за подмогой. Спасибо, гусары выручили. Прогнали пехоту. Чуть дело дракой не окончилось.

— Ну а документ где получили? Ведь вы поди-ка в охранной записаны.

— Всенепременно. Кличку даже имею: Рыжий жук... Партия мне изготовила. Гороховые пальто смотрели — ничего не учуяли. Комар носа не подточит. Если, когда какой документ понадобится — милости просим. Такая тонкость работы. Каменского подпись — *chef d'oeuvre*<sup>2</sup>.

— Завидую я вам, Федор Федорович. Какой характер у вас. Вы, поди, и в Русскую революцию продолжаете верить.

<sup>1</sup> Медленно — спокойно.

<sup>2</sup> Образец.



— Верую-с! И утверждаю-с, что такого прыжка к осуществлению социальных проблем никакая революция не давала, какой даст наша.

— После дождичка в четверг, — сказал Любовин.

— Ну, может быть, и раньше. Это там видно будет. Армию, Виктор Михайлович, колебать пора. Понимаете.

Любовин остановился и со злобою сказал Коржикову:

— Видали джигитовку?

— Наблюдал-с, — спокойно сказал Коржиков.

— Чего вы хотите, если человек за пятиалтынный ногу ломает, калевой, может быть, на всю жизнь становится. Я видал и его, и его товарищей. Выдумаете: злоба, отчаяние, — ничего подобного. Товарищи смеются. «Ты, — говорят, — Зеленков, сам виноват, зачем боком повис, вот она тебя и ударила!». Это лошадь-то. А он говорит: «Уже и не знаю, как у меня рука осклизнулась. Бог попутал». Пока у них Бог да черт за все отвечать будут, их не свернешь. И после этого восхищались своим генералом. «Наш-то, наш-то платок достал». Тьфу! А морду вахмистра видали? Емелька Пугачев! Наш Иван Карпович — херувим по сравнению с ним.

— Наблюдения хорошо сделали, Виктор Михайлович, а выводов сделать не сумели.

— Какие выводы! Люди разбой и виселицу открыто воспевают и рядом на потеху господам ноги ломают. Темнота! Дикари! Бог наверху, черт — внизу, а над всем этим царь и господа.

— А вот вы Бога-то уничтожьте, а? Черта служить себе заставьте, вот оно, как на саночках под горку, у вас и пойдет.

— Не знаю, как и приняться, — со вздохом сказал Любовин.

— Без офицера не обойдемся. Я с вашим Сашей познакомился. Душевный барин. И херувим писанный.

— Когда?

— А вот, когда вы петь отказались и грубо так отойти изволили, я с газеткой к нему подкатился. Хороший барин. Двугривенный за «Новое Время» дал и сдачи не взял.

— Вы смеетесь, Федор Федорович, — сказал Любовин.

— Ничего подобного. Разглядел я его. Я ведь физиономист. Податливый парень. И, Виктор Михайлович, сердитесь вы или не сердитесь, а без Марии Михайловны нам тут не обойтись.

— Федор Федорович, — с негодованием воскликнул Любовин, — я только потому прощаю вам то, что вы говорите, что вы сами не понимаете, чего хотите. Я год прожил в казармах. И я знаю, что такое все эти папиросницы и прачки, которые ходят по офицерским квартирам. И Маруся — вы понимаете, Федор Федорович? — никогда в такой роли не явится.

— Я это понимаю лучше вас, — спокойно сказал Коржиков. — Марию Михайловну я люблю, вероятно, не меньше вашего. Но у меня иные планы и иные пути.

— Какие?

— Дайте все продумать и приготовить. Дайте саму Марию Михайловну подготовить к этой, вдвойне опасной работе.

— Почему вдвойне?

— А если Мария Михайловна влюбится? — тихо сказал Коржиков.

— В офицера? Маруся? Что вы? Вы с ума сошли!

— Давай бог, коли так.

— Ей может угрожать только насилие.

— До этого не допустим-с. Они подходили к бивакам.

— Ну, до свидания, Виктор Михайлович. Тихонько-то ведите свою работу. Эх их, как разошлись они. А ведь завтра дождь будет.

Он пожал руку Любовину. Любовин пошел к вахмистерской палатке. Коржиков остался в аллее парка и смотрел, как на другом конце ее ярко светилась озаренная кострами и бенгальскими огнями площадка, там ходили и вертелись люди, надоедливо лез мотив простой польки и, казалось, слышно было притопывание женских башмачков и звон шпор, все повторяющих такт: раз, два, три, — раз, два, три.

## XXVI

Большой маневр должен был начаться столкновением кавалерии. Разведку было приказано начать в 2 часа ночи.

На лугу, у господского дома, еще танцевали и прислуга собирала ужин для засидевшихся господ, когда адъютант вызвал Саблина и сказал ему, что так как поручик Фетисов слишком много выпил и ему неудобно в таком виде ехать в разъезд, командир полка приказал ехать Саблину. Саблин не протестовал. Он прошел на бивак, приказал денщику разбудить вестового, поседлать лошадь и подать ее вместе с разъездом к дому управляющего на шоссе, а сам с казачьим офицером, у которого был фонарь, отправился в штаб дивизии получить задачу.

После кутежа, музыки, песен, танцев и женского смеха Саблину странно было увидеть бледные сосредоточенные лица старшего адъютанта штаба дивизии капитана генерального штаба и молодого армейского ротмистра, причисленного к академии, склонившиеся над большой пестрой картой. Они были так серьезны, как будто бы это была настоящая война. Рядом за перегородкой помещался начальник дивизии с начальником штаба. Они тоже не спали.

Начальник дивизии спросил, кто пришел, и старший адъютант ответил, что пришли начальники летучих разъездов.

Начальник дивизии, старый толстый генерал в уланской форме, вышел к ним. Он стал объяснять задачу, и весь вид его говорил: «смотрите, не подведите и сделайте так, чтобы маневр разыгрался удачно и красиво».

— Главное, — говорил он, — донесения, господа, не ленитесь посылать мне донесения.

Казачий офицер тщательно записывал все в свою полевую книжку. Саблин надеялся на память.

— Ну, с Богом, господя! Смотрите же — донесения, — еще раз сказал им начальник дивизии.

Когда Саблин вышел на крыльцо со света, ему показалось так темно, что он не видел своей лошади.

— Сюда, ваше благородие. Тута я, — сказал ему вестовой и, взяв его за руку, подвел к лошади.

— А разъезд?

— Здесь, ваше благородие, — услышал он солидный голос взводного Балатуева.

Саблин ничего не соображал. Там в комнате, на ярко освещенном керосиновой лампою плане он отлично понял, что надо ехать все прямо по шоссе, бледно-малиновою лентою прорезавшем зеленые пространства лесов, что, проехав шестнадцать верст, должны были выехать на поляну с маленькой чухонской деревушкой — не то Леппелева, не то Неппелева, что потом будет поляна, бугры, потом большая деревня Колосова, и за ней можно ожидать встречи с разъездами неприятеля. Оттуда надо было послать первое донесение. Но теперь он совсем запутался в темноте. Дом управляющего стоял в лесу, и шоссе шло мимо него. Но куда ехать? Направо или налево?

Взводный вывел его из нерешительности.

— Направо, ваше благородие, — сказал он и, не дожидаясь приказа, выслал дозорных.

Стук подков по щебню шоссе стал затихать, когда Балатуев почти сказал Саблину:

— Пожалуйте ехать.

— Справа рядами, левое плечо вперед, — скомандовал Саблин, — шагом марш.

Ничего не было видно. По обеим сторонам шоссе тянулся густой хвойный лес. Пахло хвоей, можжевельником, сырым болотным мхом. Прямое шоссе, покрытое лужами вчерашнего дождя, чуть серело впереди. Саблин его сначала и вовсе не видал и удивлялся, как верно и ровно шел его Мирабо.

Когда проехали с полчаса, Саблин остановил разъезд и приказал слезть, осмотреть подпруги и вьюки. Так следовало по уставу.

— Можно курить, — сказал он, чувствуя, как ему самому мучительно захотелось папиросу.

Красными точками вспыхнули огоньки и на секунду осветили неподвижно стоящих, казавшихся громадными в темноте лошадей.

В лесу было тихо. Слышно было, как в придорожной канаве журчала вода и иногда капель упала в нее с ветки и тихо звенела. Лес надвинулся глухой и темный.

Сели на лошадей. Надо было бы идти то рысью, то шагом, но Саблин не рискнул в этой темноте идти рысью и продолжал двигаться шагом.

Мерно стучали копыта лошадей по шоссе, и ночь убывала. Рассвет наступал мутный и сырой. Стали видны деревья леса, телеграфные столбы, уныло гудевшие по сторонам. Туман поднимался кверху и клубился над лесом, сбиваясь в серые тучи.

По расчету Саблина, он уже достаточно отъехал, и пора было бы быть лесной поляне и деревушке, но по-прежнему глухой и сумрачный лес стоял по сторонам.

Светало. Серый день наступал. Мелкий пронизывающий дождь моросил, как сквозь сито, унылый, надоедливый. Лес оборвался сразу, упершись в песчаные бугры, поросшие вереском и уставленные старыми пеньками. Впереди за туманной завесой дождя показались маленькие, темные домики. Саблин вздохнул спокойнее. Ему все казалось, что он не туда едет.

— Ваше благородие, — услышал он тревожный голос Балатуева. — Гусары!

Весь разъезд беспорядочно, увлекая за собою Саблина, кинулся скакать по шоссе. Саблин оглянулся. Справа и слева, прямо по рубленому лесу полным карьером наперерез его разъезду скакали в белых рубахах и алых фуражках гусары.

Непонятный и, как потом сознавал Саблин, глупый и неосновательный страх и волнение охватили его. Он дал шпоры Мирабо и могучим махом, и Саблину казалось очень быстро, стал подаваться по шоссе, боясь посмотреть, что делается сзади. Вдруг слева от него появилась вытянутая серая морда скачущей лошади, маленькая, породистая, загорелая рука без перчатки с силой схватила его руку в белой промокшей перчатке и, сильно надавливая, задержала ход лошади.

— Не тратьте, куме, силы, опускайтесь на дно. Нас больше, вы в плену, — услышал он спокойный голос.

Рядом с ним скакал на прекрасной поджарой лошади молодой поручик с небольшими русыми распущенными на концах усами. Саблин его сейчас же узнал. Это был знаменитость скакового поля, известный спортсмен — Ламбин.

Пошли шагом. Гусары, их было восемнадцать человек бравых ребят, в промокших рубахах, окружили людей Саблина и весело болтали. Саблинский разъезд в мокрых, неуклюже топорщащихся шинелях имел сконфуженный и далеко не бравый вид.

— Как же это?.. Дозоры-то наши! Ах, и дозоры, — говорил сзади Балатуев.

— А вы бы, — отвечал ему Ламбин, — еще выше подняли воротники; едут, смотрят вперед, а по сторонам ничего не видят. Где же ваши боковые дозоры?

Саблин чувствовал себя уничтоженным перед своими людьми. Почему он не послал боковых дозорных? У них никогда не посылали, чтобы не топтать травы. Но тут и травы не было. Было песчаное поле, поросшее никому не нужным вереском, и он не послал дозорных. Почему? Да потому, что никогда не думал о маневре. Маневр был для

него — обед у барона Вольф, знакомство с прелестной девочкой, баронессой Верой Константиновной, трубачи, песенники, джигитовка казаков, танцы, фейерверк и только, но никогда не плен, не писание донесений. Не работа в поле. Что такое работа на военной службе, он не знал. Военная служба для него был вечный праздник. Саблин взглянул на своего Мирабо. Густая белая пена проступила из-под ремней подперся, он тяжело дышал и шел, отфыркиваясь, он не привык скакать. Рядом изящная серая кобыла Ламбина шла воздушно, дышала, как будто бы только что из конюшни и нисколько не согрелась. Она была работана для маневра, для боя, для войны. Саблин посмотрел и на Ламбина. Он подъезжал к чухонской избушке. Там стоял дневальный гусар, ожидая разъезд.

— Очередные! — крикнул Ламбин, и два гусара отделились от разъезда, чтобы везти донесение.

— Подождете донесения. Унтер-офицер Светозаров, напоить людей чаем и молоком. Двадцать минут отдыха, — говорил Ламбин.

«Он живет маневром, — подумал Саблин, — живет людьми, вероятно, думает о войне и к ней готовит людей. Да и люди у него особенные. Легкие, проворные. Делают все сами». Саблинский разъезд стадом заехал во двор и не знал, слезать или нет. Им опять-таки Ламбин распорядился.

— Слезайте же, — крикнул он солдатам Саблина. — До конца маневра останетесь. Выспаться можете, поди, устали. Мои ребята вас чаем напоят. Ваша фамилия, корнет? — обратился Ламбин к Саблину. — Имя и отчество?

Он слез с лошади, любовно потрепал ее по шее и по щекам, и было что-то женственное нежное в этом движении. Лошадь понимала его ласку, она следила за ним, как собака, темными умными глазами.

Ламбин вошел в избу, кинул по-чухонски несколько слов хозяину и сел писать донесение. Написав о столкновении разъездов и отправив очередных, Ламбин серьезно посмотрел на Саблина.

— Ну-с, корнет, было бы это на войне, я бы обезоружил вас и ваших людей, отобрал бы лошадей и под конвоем четырех гусар отправил бы вас в тыл. Таким образом, для своего отряда вы исчезли. На маневре, конечно, мы этого делать не будем. Я оставляю вас здесь, но вы дадите мне слово, что до конца сегодняшнего маневра вы не подойдете к своему полку и ничего ему ни писать, ни посылать не будете. Идет?

— Конечно, — смущенно пробормотал Саблин.

Гусар принес чайник с чаем, хозяин подал стакан и рыжую с красными цветами чашку.

— Как у вас все это налажено, — сказал Саблин. — Совсем люди особенные.

— Люди везде одинаковые, — серьезно сказал Ламбин, — только воспитание разное.

— Как я хотел бы ближе познакомиться с тем, как делать солдата.

— Пикниками поменьше заниматься. Мы сегодня ночью без ошибки по вашим ракетам и римским свечам определили, где вы ночуете. Благодаря этому вместо шести разездов послали только три и вышли верно, да и знаем, что столкновение произойдет вот здесь... Хотите — будем знакомы и впредь. Приезжайте в полк, спросите меня в четвертом эскадроне. Я всегда в полку. Ну, а теперь до свидания.

Ламбин торопливо выпил чашку чая и вышел на двор. Саблин пошел его провожать. Он видел, как далеко впереди все время маячили его дозоры и как по знаку Ламбина они пошли вперед и врезались в лес.

Дождь сыпал неугомонный, скучный, в избе было сыро, пахло мужиком и овчиной, по маленьким стеклам текли непрерывные струи воды. В углу, где на стене висели портреты Государя и Государыни, литографированная картина «Ступени человеческой жизни» и портрет французского президента Фора в черном фраке и красной ленте, на лавке сидел старый чухонец и молча сосал трубку...

Намокшее тяжелое пальто давило на шею. Амуниция стесняла. Саблин снял с себя амуницию, пальто, положил его на лавку и прилег, подложив пальто под голову.

Чухонец сидел, не шевелясь, в углу, и слышно хрипела его докуренная трубка. Дождь уныло бил в стекла и нагонял тоску. Саблин вытянулся, зевнул и заснул крепким сном.

## XXVII

— Ваше благородие, вставайте, идут! — тихонько входя на цыпочках в избу, сказал Балатгев. Он все также был в мокрой шинели и при амуниции.

— Кто идет? — спросил Саблин.

— Самой противник.

За окном слышался мерный топот многих сотен конских ног.

Саблин вышел на крылечко. Мимо него просторною рысью шли по обеим обочинам шоссе уланы. Мокрые рубахи были забрызганы грязью. За кокарды были вставлены веточки березы, лица были мокрые от дождя, лошади блестели и казались темно-бурыми. Они проходили эскадрон за эскадронами, и за ними далеко были видны серые колонны и красные, потемневшие от дождя шапки гусар.

Впереди раздался трубный сигнал, несколько голосов в разных местах закричало, и Саблин увидал, как эскадроны стали сворачивать с шоссе, прыгать через канаву и все поскакало вперед к опушке леса — там поле было покрыто скачущими всадниками той дивизии, где был полк Саблина.

Сбоку разворачивались длинными линиями казаки, но против них бросились драгуны и часть гусарских эскадронов, и на просторной поляне стали видны линейчки эскадронов, несущихся в атаку. Со звоном

и грохотом перелетала через канаву конная батарея, и пушки спешили занять фланг. Кто-то упал. Чья-то лошадь, вымазанная грязью без седока, задрал кверху хвост и беспокойно ржа, догоняла свой эскадрон, а упавший белым пятном лежал между пеньков рубленого леса, и к нему, прыгая по кочкам, катила большая белая лазаретная линейка с красным крестом.

В тумане не переставшего дождя края этой картины скрывались, и Саблин не мог разобрать, что делалось там, где казаки столкнулись с гусарами и драгунами.

Все это было красиво, как на картине, и потому казалось Саблину неправдоподобным.

«Разве так может быть? — думал он, — на настоящей войне? Разве это возможно? И если возможно — то, Господи, — какой же это ужас — война!»

— Ваше благородие, — прервал его размышления Балагуев. — Можно ехать?

Он помог одеться Саблину, и Саблин поехал мимо слезших с лошадей улан, атаковавших эскадрон Гриценки, к своему полку.

— А, Саша! — ласково сказал ему Гриценко, стоявший с уланским ротмистром впереди эскадрона. — Намок, озяб, устал? А нас еще куда-то гонят. Черт бы их брал. Надоело, да и есть безумно хочется. От вчерашнего баронского пойла голова трещит.

— Наш маркитант, должно быть, подъехал, — сказал улан. — Пройдемте закусить.

— Добре, — сказал Гриценко и пошел с уланом.

— Корнет, пожалуйста — по рюмочке старки.

Саблин пошел с ними. Про плен, про то, что он не послал ни одного донесения, никто не говорил ни слова. Точно это было в порядке вещей. За рюмкой старки, за бутербродом с ветчиной маневр был забыт.

Его разбирал среди группы полковых командиров посредник, и он указывал на то, что эскадроны недостаточно равнялись и многие атаковали впустую, не нацелив противника. О разведке не говорили совсем.

— Вот у вас, барон, — говорил Древеницу толстый уланский генерал, — только один эскадрон попал на противника, а остальные, так, зря. Хорошо, что Государя не было. Недостаточно лихо шли. Ваши атаковали рысью.

— Так ведь поле какое, — сказал сосед Древеница. — У меня и так один солдат убилися.

— Поле?.. Да, поле нехорошее, но знаете, господа, требования Великого князя?

Командиры полков разъезжались с разбора недовольные. Древениц тяжело подпрыгивал на своем сытом гунтере и ворчал по-немецки:

— О, Donnerwetter! Этакий дождь. Этакое поле. Aber natürlich!! Что люди падают... Полк! — закричал он сиплым басом, — сад-дись! — и поднял над головою свой стек с рукояткой в виде лежащей голой женщины.

## XXVIII

Эти большие маневры были отлично задуманы и разработаны. В них была идея. Они должны были показать, что подступы к Петербургу очень трудны, что преодолеть все эти болотные дефиле тяжело и Петербург взять немцам, даже если удастся сделать десант, невозможно. Командир армейского корпуса, защищавший Петербург, участник турецкой войны, вместе со своим начальником штаба, молодым генералом генерального штаба, прекрасно обдумали маневр и решили запереть все лесные дефиле, не дать возможности развернуться гвардии, поставить ее под удары батарей и тем самым доказать высоким германским гостям, присутствовавшим на маневре, что русские начальники тонко понимают военное искусство, и Петербурга не взять. Двумя утомительными ночными маршами армейский корпус Северного отряда достиг Колосовских высот и должен был выступить на рассвете, чтобы окончательно припереть все подступы к Петербургу. Кавалерия была направлена в обход на шестьдесят верст и, действуя спешенными частями, должна была отрезать противнику коммуникационные пути с его флотом, предполагавшимся в заливе.

Идея маневра путем осмысленных приказов и посылки офицеров генерального штаба в полки была сделана известной всем офицерам и солдатам, и, забывая утомление, каждый старался исполнить до мелочей приказ.

Подходил момент решительного столкновения. В десятом часу ночи в маленьком, одиноко стоящем среди громадных лесов домике лесника были собраны полковые адъютанты от всех полков Северного отряда, и штаб-офицер штаба корпуса диктовал им приказ о бое.

В соседней комнате командир корпуса — плотный шестидесятилетний старик — устало пил чай из стакана, поставленного на большую разложенную на столе карту окрестностей Петербурга, а его начальник штаба, потирая руки, просматривал дополнительную записку о бое, только что им составленную для рассылки по полкам с объяснением того, что было бы, если бы бой был настоящим.

Темная, тихая ночь стояла за окном. Дождь, ливший все эти дни, перестал. Небо яснило, и на нем проступали звезды.

На шоссе раздалась со стороны противника залиvistые звонки двух троек. Они быстро приближались. Стали слышны топот копыт и

<sup>1</sup> Черт возьми!.. Но понятно!



шуршание резины. Тройки остановились у домика, и кто-то хриплым старческим голосом спросил: «Здесь штаб Северного отряда?»

В комнату командира корпуса вошел высокий статный старик с седою бородою в свитской фуражке и оленьей дохе и с ним такой же высокий щеголеватый генерал генерального штаба в длинном черном сюртуке с аксельбантами, подтянутом серебряным шарфом. Сзади них шел жандармский унтер-офицер в светло-голубом мундире с желтыми аксельбантами. Он помог старику снять доху и удалился из комнаты. Приехавший был старший посредник и член Государственного совета, генерал-адъютант.

— В какую глушь вы забрались, ваше превосходительство, — проговорил он, протягивая большую руку в белой перчатке начальнику Северного отряда. — Мы насилу вас отыскиали. Можно будет стаканчик чая... Ну, как на завтра?

Начальник штаба взял аккуратно переписанный приказ и начал его читать. Начальник Северного отряда показывал посреднику на плане. Генерал-адъютант не дал дочитать приказ до конца.

— Позвольте, ваше превосходительство. Вы этот приказ уже разослали в полки?

— Диктуем адъютантам, сейчас посылаем.

— Остановите диктовку. Надо совсем другой приказ составить.

— Но, ваше высокопревосходительство, — проговорил, вставая, начальник Северного отряда.

— Никаких возражений. Чего вы хотите? Запереть все дефиле, устроить огневой бой, не дать гвардии дебушировать из леса и развернуться. Вы угоняете дивизию кавалерии бог знает куда, за тридцать верст по невозможным дорогам.

— Ваше высокопревосходительство, ведь этим мы обороняем Петербург, — вставил начальник штаба.

— Ах, оставьте эти академические хитрости для военной игры в Округе. Вы забываете, что маневры в Высочайшем присутствии. Высочайший поезд будет подан к девяти часам утра к станции Волосковицы. Государь Император с Августейшим гостем проследует верхом к мызе Колосово, откуда с холма будет смотреть на маневр. Государыня Императрица будет наблюдать с балкона. Гофмаршальской части заказан завтрак на мызном поле на шестьсот персон. На этом поле будет производство юнкеров. Вы понимаете все это?

— Чего же вы от меня хотите? — спросил начальник отряда.

— Маневра. Красивых атак конницы и пехоты на Колосовском поле, которое как будто бы нарочно создано для маневра.

— Ваше высокопревосходительство, пощадите, ведь маневр потеряет всякую поучительность. Для чего же мы гнали людей по этой мокроте? 37-я дивизия сделала сорокапятыверстный переход по непролазной грязи и занимает уже отличную позицию. Как я подам ее к Колосову?

— Вы подадите ее, ваше превосходительство, — упрямо сказал старик. — Надо, чтобы люди видели своего обожаемого Монарха, надо, чтобы Государь видел свою бесподобную армию. Не забывайте главного! — воспитательного значения маневра. Отдайте приказ всем остановиться на своих местах, почиститься, надеть чистые рубахи и завтра занять места так, чтобы гвардия могла спокойно дебушировать из леса и развернуться для сквозной атаки на поле. Сосредоточьте кавалерию за лесом и киньте ее часу в десятом в атаку.

— Какой же это будет маневр? Это парад!

— Маневр в Высочайшем присутствии, — внушительно сказал генерал-адъютант. — Вы сами служили в гвардии и должны это понимать. Извольте слушаться. Я вам приказываю. И, поверьте, — многозначительно добавил он, — худого вам от этого не будет.

Командир корпуса тяжело вздохнул. Он понимал, что генерал-адъютант прав. Маневры в присутствии Государя нельзя делать так, чтобы Государь ничего не видал.

— Пишите, — сказал он начальнику штаба и начал диктовать новый приказ-диспозицию.

На рассвете адъютанты разыскали свои части на походе. Полки были остановлены. Кавалерия повернула назад и на рысях пошла обратно. Подходя к Колосову, полки свернулись в колонны и стали чиститься и замывать в реке всю грязь трехдневного похода. Всем стало ясно: сегодня они увидят Государя.

Никто не возмущался, никто не удивлялся, каждый понимал, что нельзя Государю показаться, как попало.

Все радовались увидеть Государя, все радовались, что наступил конец маневров, и приблизилось время увольнения в запас, по домам.

## XXIX

Утро маневра было ясное. Солнце ярко блистало с бледно-голубого осеннего неба. Паутинки высоко поднимались и плыли по неподвижному воздуху. Дождевые капли бриллиантами сверкали на листьях кустов и на мелкой поднявшейся после укуса траве.

Полк Саблина устанавливался в ольшанике, где солдаты находили красные грибы. Вся дивизия заблаговременно выстроила боевой порядок для атаки на пехоту. Там, где был неприятель, часто и мерно бухали пушки, и белый дым густыми клубами тихо поднимался у леса. Трескотня ружей становилась сильнее и ожесточеннее. Было видно, как длинные цепи в белых рубахах быстро перебежали по полю и ложились между скирд хлеба. Начальник дивизии со штабом открыто стоял на поле. Он волновался. Он боялся пропустить момент атаки, волновала его и скачка по полю, где могли быть канавы, скачка, вредная для его тяжелой комплекции и большого сердца. Спешенные

люди, кто затирали ноги коню, кто, опершись о седло, стоял и смотрел мечтательно на лес, где все чаще и чаще били пушки.

— Небось, на войне так не постоял бы! — сказал Любовин, обращаясь к своему соседу Адамайтису.

— А чего? — спросил тот.

— Чего, — передразнил Любовин, — да вишь, как стреляет.

— Ну и пусть стреляет, — спокойно сказал Адамайтис.

— Так ведь на войне-то, поди, и людей бьет, — сказал Любовин.

— Ну-к, что ж, — еще спокойнее сказал Адамайтис. — И то на войне не без урона.

Такая философия привела Любовина в полное отчаяние, и он замолчал.

Начальнику дивизии показалось, что уже можно атаковать. Веером во все стороны поскакали от него ординарцы. Полки сели на лошадей.

Еще прошло несколько минут, и из леса стали выскакивать полевым галопом рассыпанные цепью полуэскадроны, сзади скакали сомкнутые полуэскадроны поддержек. Скачка по чистому полю, по сжатым хлебам увлекала солдат. Испуганный заяц вылетел из-под копыта, стал метаться вправо и влево, попадая под лошадей, и ближе надвигалась вставшая с ружьями у ноги пехота. И когда прошли ее и остановились, хотели слезть. Но сзади раздались сигналы — «назад». Прискакали ординарцы и сказали, что надо отойти на прежнее место и атаковать снова. Атака была великолепна, блестяща, эффектна, но ее не видал Государь. Приказано повторить ее, когда его величество приедет на мызу. Теперь все смотрели не на пехоту, которая легла цепями по полю, а на холм, на котором стояла двухэтажная белая дача.

Оттуда раздался ответ небольшой части. Это Государь поздоровался с охотниками Егерского полка, забравшимися на дачу. Пестрая свита устанавливалась на холме. И опять помчалась в атаку кавалерия. Но уже прежнего увлечения не было. Лошади вяло скакали по натоптанным тропинкам.

Маневры, разведки, поход, биваки — все было забыто. Все мысли были сосредоточены на одной волнующей мысли: «Государь здесь. Сейчас увидим Государя».

Армейская пехота, маленькие загорелые до черноты люди, уставшие, измученные походом, не спавшие всю ночь, бегали бегом под гору и отмывали в речке сапоги и лица. Они обчищали друг друга и, забыв про бой, про маневр, толкаясь мешками, проворно выстраивались в колонны. На всех лицах Саблин, стоявший напротив, видел восторг ожидания великого счастья. Он сам был проникнут этим восторгом и так понимал его и так ощущал всем существом своим.

Тонкий резкий сигнал отбоя прозвучал у мызы, и трубачи и горнисты по всем углам широкой поляны, у лесов, в лесу и за лесом повторили его красивой звенящей фразой кавалерийского сигнала или двумя тяжелыми нотами, два раза повторенными сильным пехотным горном. Стрельба затихла. Волны белого порохового дыма, как туман,

стлались по земле над сжатыми нивами, где выстраивались теперь полки. Пехотные музыканты, сверкая начищенными трубами, бегом бежали к своим полкам.

Было что-то обаятельное в этой суетливой, постепенно замирающей картине. Чувствовалось присутствие полубога. Солнце сияло ярко, тихое, осеннее небо было безоблачное, леса в пестром уборе были полны очарования. И опять на сердце Саблина нахлынула волна восторга, он чувствовал, что сама собою создалась обстановка сказочного царственного великолепия и не устоять перед нею простому сердцу. Что до того, что маневры были бестолковы, что гвардию заставили победить вопреки рассудку, что в конце концов вышла какая-то бестолочь и неразбериха: они были красивы. Они создали опять ту раму величия, без которой немислимо появление Государя к войскам.

Государь, сопровождаемый громадной пестрой свитой, медленно спускался с холма на поле. Рядом с ним на большой светло-рыжей лошади ехал его гость. Государь в Преображенском сюртуке, подпоясанном серебряным шарфом, на гнедой лошади тихо ехал по полю. Вспыхнул первый одушевленный ответ на громкое протяженное «*ство-о!*» и за ним «ура!» и гимн. Слезы заволкли глаза Саблина туманом. В реве людских голосов, в могучем, за душу хватающем гимне он видел всю Россию, с ее степями и лесами, с горами, покрытыми белыми ледниками, с голубыми озерами, с маленькими темными деревушками с зелеными церковками, с простой трогательной верой и с ее великим Царем. И что любил он, чем восхищался, перед чем благоговел, он не знал. Перед Родиной ли своей или перед ее олицетворением — Царем? Если бы ему в эту минуту сказали, что Царь человек со всеми его слабостями, что он пьет водку, курит толстые папиросы, что он просто молодой двадцатипятилетний полковник, он не поверил бы. Все снова было подернуто туманом удаленности от людей, озарено солнечными лучами, льющимися на него, и он являлся отмеченный Богом, как его помазанник.

Саблин стоял впереди. Полк был построен развернутым фронтом, и Саблин почувствовал на себе пронизательный ласковый взор Государя и замер от восторга и ничего не видал, кроме больших выпуклых серых глаз. Какая форма на Государе, какой масти лошадь — все исчезло в радостном обаянии его взгляда. Саблин знал, что и люди чувствовали так же, как он. Он это понял по дружному, сосредоточенному ответу и за душу хватающему крику «ура!» Опять повторилось то же, что было на параде, счастье снизошло на него от царственного всадника.

Государь был далеко. Он объезжал полки резерва, не поспевших к моменту атаки.

Плавные звуки торжественного Русского гимна перебивались треском барабанов и ухарскими песнями пехоты и певучими маршами. Войска, отпущенные Государем, расходились по домам. Скоро мимо них понеслись тройки, коляски, извозчики; начальство покида-

ло свои части и спешило на железную дорогу, кто торопился в только что разрешенный отпуск за границу или в деревню, кто просто ехал на дачу к семье, кто еще проще — спешил в баню, помыться после утомления и грязных ночлегов на маневрах. Полки шли по домам под начальством молодых офицеров, а более того фельдфебелей и вахмистров. Господам отдых был нужнее, нежели солдатам. Так было всегда — и солдаты не обращали на это внимания.

### XXX

В полку наступило скучное время. Строевых занятий не было.

Все начальство было в отпуску. Всюду были временно исправляющие должность, которые для того, чтобы не напутать чего-либо, предпочитали ничего не делать и всех уверяли, что они только *халифы на час*. В канцелярии сидел ротмистр вр. и. д. командира полка, корнет вр. и. д. полкового адъютанта, эскадронами правили корнеты, появлявшиеся ежедневно на полчаса в эскадронной канцелярии, чтобы выслушать рапорт вахмистра, что все обстоит благополучно, и подписать какие-то ведомости и требования.

Суетились только квартирмейстер и ветеринарный врач. Первый спешно оканчивал ремонт казарм *без расходов от казны* на полковые средства, второй лечил лошадей и исправлял убытки, которые сделали маневры. С утра лазарет наполнялся лошадьми с набитыми спинами, хромыми, волочащими ноги. Засечки, растяжения, ушибы, мокрецы — все это промывалось, бинтовалось, подмазывалось, делали втирания, массажи и готовили четвероногих пациентов к новой работе.

Окна в казармах были забрызганы краской, всюду пахло олифой, свежеструганным деревом, известкой, кирпичом. Солдаты в рубашках и шароварах какого-то пятого срока, не показанного в табели и состоящих из заплат и дыр, лазили по крышам, стояли на лесах и красили, строгали, месили известку, производя свой полковой ремонт. Увольняемые в запас то малыми командами, то поодиночке уходили в город справлять гостинец для деревни.

Большой полковой двор был пуст и порос травой. Барьеры, чучела и станки для рубки лежали в углу, поломанные и грязные. На них сушились какие-то тряпки да подле них бродили вахмистерские куры и утки.

Саблину, который никуда не поехал, противно было заглядывать на дворы и в конюшни. На квартире одному было скучно. Он иногда целый день проводил, лежа в кабинете с книгой в руках. Даже обед ему приносили из собрания на квартиру. Скучно было ходить по залам с занавешенными по-летнему зеркалами и портретами, где гулко отдавались шаги, и садиться за большой стол, где накрыто было пять, шесть приборов и сидел один дежурный по полку.

Саблин думал, подводил итоги прожитому году. Что приобрел он за этот год офицерства? Уменье одеваться по форме. Он узнал, что при сюртуке с эполетами нельзя носить высокие сапоги, что в ложах надо быть при эполетах и привозить дамам конфеты, что есть приличные и неприличные клубы, что в приказчиный клуб на Владимирском ходить неприлично даже и для игры, также нельзя посещать и благородное собрание на Мойке. Он узнал и большее. Узнал, что любить можно кого угодно — но любовь должна быть скрыта. Что Китти может приехать на квартиру Гриценки и на глазах у песенников, трубачей и прислуги ее можно целовать, но с нею нельзя пройтись под руку по Павловскому парку, куда вход нижним чинам воспрещен.

Он бросился к Китти, хотел у ней снова опьяниться страстью. Взволнованное воображение рисовало ее соблазнительно прекрасной. На даче ее не оказалось. Саблин поехал на Офицерскую. Там была одна Владя. Она сказала, что Китти уехала куда-то далеко, в провинцию. Может быть, вышла замуж не то за аптекаря, не то за музыканта. Владя смеялась в лицо Саблину. Странно было видеть, что Владя так же щурила глаза, как Китти, и глаза у нее были такие же большие, как у Китти, только серые. Близость полного тела и белых рук, обнаженных до локтя, волновала Саблина.

— Да войдите же, чего стоите. Я одна, — говорила Владя. Гостиная была полна воспоминаний. Только гиацинтов в ней не было.

Стояли лохматые хризантемы.

— Ну, снимайте пальто, — говорила Владя.

Саблин повиновался. Было странно, что он так любил Китти, так хорошо говорил о ней с Владей, а остался у Влады. Она целовала его, а он называл ее также «мышкой». Но все кончилось очень просто, и когда Саблин засовывал растрепанной Владе за корсет кредитный билет, ему не было совестно, и Владя, смеясь, говорила, что это «*на булавки*».

Все это было пошло, но Саблин не мог не сознать, что это удивительно удобно, никого не шокировало и не марало мундира полка. Но после этого жизнь стала еще скучнее, и еще больше хотелось выйти из ее тенет и поставить ее *идейно*.

«Идейно, — мысленно повторил Саблин. — *Voilà le mot!*»<sup>1</sup>

Он вспомнил Ламбина. Надо стать таким, как он. Надо серьезно изучить свое ремесло. Стать близко к солдату, узнать его душу и тогда сознательно воспитывать в безпредельной преданности Государю Императору. Это чувство любви к Государю осталось незыблемо прекрасным, и мечта о нем радостно волновала сердце, и мысли о нем были святыми.

Пришла мысль идти в академию. Академия в полку была не в моде. Туда шли больше артиллеристы, саперы, армейская пехота, семейные

<sup>1</sup> Вот слово!

люди. Шли от голода. Но Саблин пойдет — *идейно*. Чтобы расширить горизонт своих знаний и стать образованным офицером.

Он достал программу, книги, просмотрел. Учить пришлось бы всю историю, начиная с древней, по Иловайскому, повторять все эти сказки про Периклов, Агезилаев, Алкивиадов. Потом требовалось извлекать квадратные и кубические корни, снова знакомиться с таблицей логарифмов, решать задачу о двух курьерах и святищихся точках. Нужно было по немой карте угадывать реки России и называть города и губернии... Все это показалось скучным и бесцельным для того, что он хотел знать, и он отложил академию до лучших времен.

«Буду учиться у Ламбина и у жизни, — думал Саблин, — войду в солдатскую семью, буду изучать ее на месте в эскадроне, заведу дружбу с солдатами, заставлю их открыть свою душу».

Саблин вспомнил всегда почтительного унтер-офицера Балатуева, на все отвечающего готовыми ответами: «так точно», «никак нет», «не могу знать», «не солдатское это дело», вспомнил тупого Артемова. Тот только потел и молчал при разговоре на вольные темы с его благородием, и мука отражалась на его лице.

«А Любовин? Любовин солдат и в то же время свой человек — образованный. Любовин станет мостом, по которому Саблин пройдет в солдатскую среду и станет другом солдат. Они говорили же про песни, и как умно и хорошо говорил Любовин. Любовин от него узнал ноты, и Саблин научил его многим хорошим нотным песням. Теперь при помощи Любовина он сблизится со всем взводом. Узнает душу солдатскую и научится влиять на нее. Вот когда он станет настоящим офицером, Мацнев не будет смеяться над ним. Он сделает целые открытия в этой области, где еще никто не занимался».

Саблин бросил книгу, над которой задумался, в два глотка допил холодный чай, вскочил с дивана и пошел в эскадрон.

### XXXI

В эскадроне было пусто и прохладно. Все окна были раскрыты настежь. Матрацы, одеяла и подушки вынесены на двор. Кровати стояли, открыв свои доски, и имели скучный нежилой вид. Дежурный бойко отрапортовал Саблину, и эхо вторило ему в пустом зале. Человек двенадцать солдат, мывших полы, вытянулись с мокрыми тряпками в руках, и с тряпок текла и струилась мутная грязная вода.

— Где Любовин? — спросил Саблин.

— В эскадронной канцелярии, — отвечал дежурный.

Саблин прошел в конец зала и открыл большую дверь, ведущую в маленькую комнатку. Это была эскадронная канцелярия. После ярко освещенного сентябрьским солнцем зала в ней показалось темно. Воздух был спертый, пахло чем-то кислым. Любовин был один. Он корпел над громадным провиантским листом, сводя по нему расход



капусты, гороха, лука и т. п. Он нехотя встал и негромко ответил на приветствие, проглатывая «ваше благородие». Саблин сел на нагретый табурет Любовина и отпустил дежурного. Они остались одни с глазу на глаз с Любовиным, и Саблину под настойчивым любопытным взглядом Любовина стало неловко.

«С чего начать?» — подумал он. Любовин стоял, опустив руки по швам, и видно было, что его это утомляло.

— Любовин, я пришел к вам, — неожиданно для самого себя переходя на вы, сказал Саблин, — за советом.

Удивление выразилось в карих глазах Любовина. Он согнул ногу в колене и заложил руки за спину. Саблина это покорило, но он промолчал. Пришел он с сердечной беседой, и формалистика и «руки по швам» здесь, пожалуй, были бы и не у места. Он бы даже посадил Любовина, но в маленькой канцелярии был всего один табурет.

Любовин молчал, и Саблина это мучило.

— Да, — сказал он. — За советом. Вы живете в эскадроне, одною жизнью с солдатами, вы их знаете хорошо. Я офицер. Вместе умирать будем, — сам не понимая для чего сказал, Саблин и почувствовал всю неуместность этой фразы, — а между тем мы далеки друг от друга. Солдаты не знают меня, я не знаю их. А мы — братья. Мы братья не только по Христу, как все люди, но братья по полку, так как под одним святым штандартом присягали и одному Государю служим. Вот я и хотел бы, чтобы вы помогли мне стать в такие отношения к солдату, чтобы мы стали не чужими, а родными. Как братья. И я знал бы все, что таится в их душе.

Любовин смотрел недоброжелательно на Саблина. Ему показалось, что Саблин просто пришел в целях сыска и шпионажа и хочет воспользоваться для этого им, Любовиным. Но он посмотрел в открытое честное лицо Саблина, в его ясные глаза, которые не умели лгать, и понял, что Саблин имеет самые лучшие намерения.

— Это, ваше благородие, невозможно, — тихо сказал он.

— Но почему? На службе, в строю мы будем офицер и солдаты, а вне службы — товарищи.

— Вот это-то и невозможно, — повторил Любовин. — Вы — барин, они темные, серые люди. Они вас боятся.

— Но теперь крепостного права нет и все люди вольные, — сказал Саблин.

— Слишком вы разные. Чтобы вы стали товарищами, чтобы вы могли в полной отчетливости понять солдата, а солдат понял бы вас, надо, чтобы вы стали одинаковыми. Или вы спустились бы до солдата, или солдат поднялся бы до вас.

— Я не понимаю вас, Любовин, — сказал Саблин.

— Извольте, я вам сейчас объясню. Это все, ваше благородие, формально начинается. Приходите вы в эскадрон. Корнет Ротбек командует вам «мирно». Вы сейчас это с корнетом Ротбеком за ручку. Наше вам почтение, мол. Разговор. Где вчера были? Как опера или там деви-



ца какая. А солдатам — «здорово, ребята». Да смотрите, чтобы ответ громкий был и головы на вас повернуты были. Солдат это чувствует. Вот, если бы вы ему ручку, да как, мол, Павел Иванович, ночь провели — он почувствовал бы, что стены-то нет. Возьмем далее. Какой разговор у вас с солдатом. «Какой губернии?» — «Вятской, ваше благородие». — «А уезда, волости? Родители есть? Чем занимаешься?» Ну, точно следователь или становой выпрашивает. Солдат этого не любит. А вы ему про себя расскажите. Вот, мол, как я живу.

Любовин помолчал немного, отставил ногу и испытующе посмотрел на Саблина. Саблину совсем стало неловко.

— Да ведь рассказать-то этого нельзя, — тихо, шепотом сказал Любовин.

— Почему? — еще тише спросил Саблин и почувствовал, как ноги у него точно свинцом налились.

— Жизнь-то не такая. Оберните ее на солдата. Похвалили бы вы его за такую жизнь? Вот и выходит: одно для солдата, другое — для вас. И ему про себя никак нельзя сказать вам правду. Ну как он скажет, что у торговки двугривенный украл, или овса дачу продал булочнику, или коня вилой пырнул, просто так, балуясь? Ведь вы за это не похвалите. Не посмеетесь с ним вместе. «Ловко, мол, бестия устроил. Так, мол, и надо, отчего не побаловаться». Вам это нельзя. Под арест, под суд. Да, может быть, оно так и надо. Вот и стала между вами ложь. А как ее обойдешь? Ни вам солдату правды сказать, ни ему вам. А когда правды между вами нет — то стала стена и как ее перелезешь?

— Ну, Любовин, а если, предположим, читать солдатам, — сказал задумчиво Саблин.

— Что же, ваше благородие, дело хорошее. Солдат это любит. Только бесполезное это дело. Что вы ему читать будете? Вот поручик Фетисов эту зиму на занятиях словесностью «Тараса Бульбу» солдатам читал. Солдаты с истинным удовольствием слушали, ну а польза какая? Никакой. Солдат слушает, а сам думает — «Все это сказка. Вот ладно придумано». Он тут как малый ребенок. Принесите серьезную газету, почитайте, растолкуйте, вот тут оборот другой будет. Солдата интересует его дело. А его дело какое? Коли он крестьянин — земля, коли он рабочий — капитал. Вас он слушать не станет. Да вы ему и не скажете, как это улучшить его положение. Он пойдет к тому, кто его этому научит. Вы для него всегда помещик и капиталист и между вами — стена.

— Но, Любовин, как же это так? Значит, вы в основу всех отношений ставите социальные отношения?

— Так точно, ваше благородие. Прежде равенство, потом братство. А ведь у нас какое равенство? Даже перед законом и то равенства нет. Для солдата закон один, для офицеров — другой. Солдат солдату в морду дал — ну и ладно, а у вас, если до такого греха дошло — преступление. Дуэль! Если кто из господ на службу проспит — пустяки, а на-

шого брата под арест. Вот снимите эту стену — тогда и откроется душа солдатская.

— Это невозможно. То, о чем вы говорите, Любовин... Я не знаю, понимаете ли вы? Но ведь это — социализм.

Любовин молчал.

— Любовин, — сказал Саблин, устремляя свой пытливый взор в карие глаза солдата, — тогда, накануне парада в Красном Селе, это были вы, Любовин, кто говорил со мною ночью. Это был ты! — воскликнул, вставая Саблин.

Любовин спокойно выдержал взгляд Саблина.

— Я не знаю, о чем вы говорите, ваше благородие, — медленно проговорил он, становясь смиренно и вытягивая руки по швам.

Гадко, противно и склизко стало на сердце у Саблина. Он встал и вышел из канцелярии.

### XXXII

— Ну, каковы? — спросил Степочка, в сотый раз оглядывая внутренний караул Зимнего дворца, построившийся для смены на главной гауптвахте. Полковой закройщик Пантелеев с громадными ножницами в руках и с двумя помощниками со щетками, согнувшись, нагибая свою плешивую седую голову и шурясь, проходил вдоль караула, подравнивая ножницами полы мундиров.

— Пантелеев! Пушинку сними... Не там... У второго с правого фланга. Не видишь. На плече у самого погона... Так хорош, говорите вы, — обратился Степочка к дежурному плац-адъютанту, пришедшему, чтобы вести смену.

— Великолепен, полковник. И, знаете, что хорошо? Русская южная красота. Вы замечательно подобрали. У всех маленькие усики, все как один налицо, кровь с молоком, легкий загар. Тут на прошлой неделе кавалергарды караул выставили. Начальником — барон Моренгейм. Вы его знаете. Сажень роста, розовый, безусый, и весь караул такой. Ну, просто парные телята, да и только. Все светловолосые гиганты. А, знаете, мне не понравился. Не русское что-то. Не то немцы, не то чухны. А вот ваши, несмотря на форму, — русские богатыри. Так на картину из сказки и просятся. Великолепны. И офицер писанный красавец.

— Да! Удался.

Степочка взглядом художника, закончившего картину, оглядел еще раз караул, вздохнул и спросил плац-адъютанта:

— Что же, пора вести?

Плац-адъютант посмотрел на часы и ответил:

— Нет. Еще полторы минуты. Комендант будет на смене и, может быть, Великий князь. Вчера казачьего начальника караула на трое су-

ток на губу отправили. По Невскому вел караул мимо дворца, на левом фланге казак не в ногу шел. Беда с этими людьми.

— Красоты не понимают.

— В ней родиться надо, полковник.

Плац-адъютант взглянул на часы и сказал торжественно:

— Ведите.

Степочка еще раз вздохнул. Ему тяжело было расставаться с людьми, которых он любовно подобрал из всего полка, которых при себе обучил смене караула и только что одел в специально сшитые мундиры.

— Ведите, корнет Саблин, — сказал он устало.

Саблин вышел по уставу перед караулом и сдержанным ровным голосом скомандовал:

— Караул! Палаши — вон. На пра-во. Шагом марш.

Степочка крестил караул и осматривал каждого солдата любовным восторженным взглядом. Высокие блестящие сапоги дружно скрипели, звенели шпоры, и караул шел, держа палаши у плеча и ровно махая руками. Он прошел мимо толпившихся солдат пехотного наружного караула, мимо своих кучками сложенных мундиров и шинелей, в которых пришел, свернул на узкую лестницу и в ней растянулся. Входя в светлую галерею, увешанную батальными картинами, правый фланг задержался, люди подтянулись, сомкнулись и, ровно скрипя сапогами, стараясь ступать на цыпочках, вошли в громадный Николаевский зал. Кавалергардский караул уже выстроился, и мальчик-офицер детским голосом скомандовал: «Палаши — вон!»

Саблин заводил свой караул плечом. Граф Адлерберг, комендант, знаток этого дела, и Великий князь стояли у дверей и смотрели на смену караулов. Волнение охватило Саблина. Все было просто, проще нежели любая фигура кадрили, а вот волновался, боялся напутать, не то скомандовать. Караулы стали друг против друга. Действительно, караул Саблина был картина. Это была выставка русской мужской красоты, и, может быть, ни одно государство в мире не могло бы подыскать таких одинаковых людей, в которых красота и изящество черт, тонкие носы, маленькие усики, большие глаза, опущенные длинными ресницами, загнутыми вверх, сочетались бы с физической силой, широкой грудью и сильными ногами.

Люди взяли на караул и застыли. Только желто-красные темляки тихо качались под кулаками в белых перчатках. Саблин поднял палаш к подбородку и пошел к середине караула. Маленький кавалергард вышел ему навстречу. Они остановились и опустили палаши к носкам.

— Корнет Саблин. Пароль — *Варшава*, — тихо, чуть слышно сказал Саблин.

— Корнет Шостак, — также тихо сказал кавалергардский офицер.

Оба одновременно подняли палаши к подбородку, отчетливо повернулись кругом, мягко щелкнули шпорами и отошли к своим карау-

лам. Они священнодействовали. Блестящие полы штучного паркета, портрет Государя Николая Павловича на гнедом коне, так написанный, что где бы ни был зритель в зале, откуда бы ни смотрел, все казалось, что государь скачет и смотрит прямо на него, громадное помещение, люстры из бронзы, увешанные хрустальными подвесками, — все создавало обстановку необычную, волшебную, сказочную. Здесь не ляжешь спать, не станешь бегать и кричать, и люди здесь казались не людьми, а часовыми и караулом, вызванным охранять священную особу Государя.

Караул Саблина заступил на место кавалергардов, кавалергарды вышли из зала. Смена кончилась. Парные часовые стали у дверей. Великий князь, комендант и плац-адъютант, вполне довольные правильностью и точностью смены, ушли из зала. Солдаты сели в особые дубовые кресла, в которых сидеть было неудобно. Они сидели как изваяния. Каски тускло мерцали, затененные стеною. Лакей в красном кафтане, обшитом позументом с черными государственными гербами, пододвинул большое кресло с золотыми ножками и ручками, небольшой стол, накрыл его скатертью и почтительным шепотом доложил Саблину: «Сейчас подам вам фрыштыкать».

Саблину не хотелось есть. Люди караула, сидевшие сзади и внимательно смотревшие, что подавали и что ел их офицер во дворце, у Государя, стесняли. Было подано красное вино в хрустальном графине, но Саблин к нему не притронулся. Он совестился людей караула. Он ел суп-крем д'асперж, котлеты де воляиль, обернутые гофрированными бумажками, рисовое сладкое пирожное, ему поставили вазочку с яблоком, грушей и виноградом.

Опять чувствовалась разница между ним и его солдатами. Невольно вспомнился разговор с Любовиным осенью после маневров, и чувствовалось, что невозможно сойтись на равную, братскую ногу. Он был гостем у Государя, и Государь кормил его со своего стола. Они были слуги, наемники. Им привезли из полка не обед, а *горячую пищу* в котле, закутанном сукном, и они по очереди ходили есть на главную гауптвахту.

В зале было тихо. У дверей дремотно сидели лакеи, неподвижно стояли часовые. С Невы, замерзшей и покрытой снегом, тянуло холодом. Слышался по торцу, подсыпанному снегом, топот лошадей. Столица жила своею жизнью. Здесь жизнь давно застыла, и, казалось, зал был полон призраками прошлого.

Странно было сознавать, что в двадцати шагах, по ту сторону зала, тянется прекрасная Помпеевская галерея, увешанная картинами кисти Рубо, Дмитриева-Оренбургского, Кившенки, изображающими всю войну 1877—78 годов, и нельзя пойти посмотреть эти картины. Там, в середине галереи устроено чудо Семирамиды — большой Зимний сад во втором этаже, растут латании, веерные пальмы, музы, всякие причудливые орхидеи, а войти туда нельзя. Нельзя отойти от караула. И выйти Саблин может только в сопровождении трубача. Он охранял

Государя, но он не видал его. Он знал, что квартира Государя, называемая «внутренними покоями», находится за залом, где стоят казаки, что там будет коридор, в коридоре высокие двери, у которых стоят часовые пехотного караула, там же стоят часовые казаки, там же бродят, мягко ступая сапогами без каблуков, конвойцы и сидят чины дворцовой полиции. Громадный дворец полон людьми, стоящими на постах, и в то же время пуст до уныния. В двери виден зал, за ним еще зал и еще зал и всюду у дверей лакеи, кое-где парные часовые и никого, живущего во дворце. Было жутко от тишины мертвых стен, нарушаемой тихими крадущимися шагами, да негромким, точно испуганным кашлем. Пройдет проворными шагами скороход, но и он не похож на живого человека. Крутая шляпа с белыми, желтыми и черными страусовыми перьями, черный, расшитый золотыми лентами кафтан, белые брюки в обтяжку до колен, высокие чулки и черные башмаки с бантами делали его похожим на тень прошлого или на слугу из сказки.

Зимний день проходил скоро, было всего четыре часа, а уже гнездились сумерки в высоких углах белого с золотом мраморного зала, со стенами, увешанными серебряными и золотыми блюдами. Каждое блюдо было образцом чеканного и граверного искусства, каждое блюдо имело свою историю любви и преданности Монарху. На этих блюдах города и губернии, земства и крестьяне, дворяне и купцы подносили своему Государю хлеб-соль. На них искусной чеканкой и резьбой были нарисованы целые сцены, виды городов, эмблемы...

Они тускло светились в надвинувшихся сумерках и вдруг потонули, вспыхнули кое-где по залу электрические лампочки, засветилось несколько свечей в центральной люстре, но не рассеяли мрака. Холодно и жутко стало в громадном зале.

На столе перед Саблиным поставили керосиновую лампу под синим абажуром. Подали обед...

День проходил. Ночь надвигалась на тихий дворец.

### XXXIII

Ночь была полна призраков. Саблин вспомнил, как один старый офицер рассказывал, что незадолго до смерти Анны Иоанновны тень императрицы появилась во дворце. Она вышла из дверей запасной половины в тронный зал и медленно стала ходить по залу взад и вперед, ни на кого не обращая внимания. Она была так ясно видна, так несомненно было, что это ходит императрица, что караульный офицер вызвал караул в ружье. Императрица прошла мимо, внимательно оглядывая обомлевших от страха часовых, и кивнула головою офицеру. Этот случай записан в истории полка, от которого был караул. Все люди караула под присягой подтвердили, что они видели тень-двойник императрицы.

Что удивительного, что это было. Было бы удивительней, если бы такие вещи не могли быть, когда здесь, во дворце, все было так необычно и непохоже на жизнь. Здесь жили монархи, и отсюда управлялась вся великая Россия!

Здесь умерла императрица Екатерина II, переписывавшаяся с Вольтером, принимавшая у себя великих людей своей эпохи, сказочная царица, воспетая Державиным. Здесь ходили в пудренных париках, здесь говорили комплименты и грубые дворяне русских степей учились здесь французскому лоску. Здесь безумный император Павел соединил гробы императора Петра III и Екатерины II, и два враждебных мертвеца свиделись здесь на глазах у многочисленных подданных. Сюда приехал из Гатчины Павел с Аракчеевым заводить свои порядки. Отсюда мистик Александр I писал свои письма Наполеону. Сюда призвал император Николай I Рылеева и отсюда отправил его на виселицу. Здесь умирал в луже крови с разбитыми ногами Царь-Мученик, кровью заплативший за то, что дал свободу миллионам рабов.

Кровь... Кровь... Кровь была кругом. Кровь страшных войн, здесь подписанных, кровь эшафотов и виселиц, смертных приговоров, здесь утвержденных.

Саблин сидел в кресле, и дремота не шла ему на ум. Было страшно. Здесь раздался взрыв и весь караул Финляндского полка обратился в кучу трупов и стонущих, изломанных людей, залитых кровью и осыпанных обломками камней и кирпичами.

Каждую минуту, каждый час опасность грозит Государю. За что? Только за то, что он Государь. Только за то, что он имел несчастье родиться от коронованных особ и взять на себя тяжелый крест и бремя власти. Сотни людей охотятся за ним, учреждаются тайные общества, чтобы уничтожить его, назло всем.

Как страшно...

Там, за дверьми красного дерева, украшенного бронзой, в нарядной спальне тихо спит Государь с молодой Императрицей. Как ей, должно быть, холодно и жутко в этой чужой для нее стране, с чужими людьми и чуждым языком.

Саблин вспомнил ее, высокую, холодную, с русыми золотистыми волосами, прекрасную со своими нежными щеками и серыми большими глазами.

Спит ли она теперь в этом чужом дворце среди зимнего холода северной зимы? И если не спит, о чем думает? Томят ли и ее страшные призраки и мысли о вечной опасности, о неутомимом преследовании диких чужих людей? Или забылась и спит крепким сном, не думая о новой, непонятной жизни...

А вдруг дворец наполнится шумом и стуком, бегущими людьми, выстрелами часовых, и здесь начнется страшная война за Государя.

Он, Саблин, сумеет умереть за Государя, он будет считать это счастьем для себя. А как они?

Саблин встал с кресла и прошел мимо караула.

Они сидели как изваяния, положив руки в белых перчатках на колени, и дремали. Хотел спросить их и не знал, как спросить и что спросить! И поймут ли!

Саблин подошел к громадному окну. Нева была пуста. Луна светила с парчового неба, сверкал шпиль Петропавловского собора и Ангел, повисший на нем. Ветер мел снег по Неве, и казалось, что это тени прошлого бегут от крепости к дворцу. Как странно было устроить усыпальницу царей и рядом — казематы государственных преступников. Слышат ли спящие там набальзамированные монархи выстрелы расстреливаемых жертв и предсмертный шепот людей, которых ведут на виселицу? Слышат ли треск барабанов?

Куранты заиграли на соборе. Их слышит в своей спальне Императрица и как тяжело должно быть отзывается их печальный перезвон в ее одинокой душе.

Тени отделились от Иоанновских ворот и понеслись к дворцу. Тени императоров спешили ко дворцу, а за ними гнались тени тех, кто жизнь отдал, чтобы погубить их. Экзальтированный поэт Рылеев, изменники офицеры Пестель и Муравьев. Желябов, Рысаков и сотни других. Сможет ли бороться его караул с призраками?

Нева была пуста. Ни одного извозчика или пешехода не было на ней. Группа странно одетых людей, точно идущих с маскарада, двигалась, без дороги, прямо по глубокому ненаезженному снегу. Впереди шел высокий человек, в треугольной шляпе, кафтане и ботфортах с раструбами и с тяжелою тростью в руках, за ним дамы в робронах и фижмах, в белых париках, дальше виднелись мундиры с лацканами, высокие воротники, шитые золотом. Позади четыре служителя в красных кафтанах несли красивого генерала с седеющими бакенбардами. Лица всех были бледны. Когда они подошли ближе и стали подниматься на набережную по гранитным ступеням, Саблин увидел, что глаза их закрыты, что все это мертвецы. Ему не было страшно. Ничего необычайного в появлении мертвецов он не видел. Они вошли во дворец, и он отчетливо услышал шум их торопливых шагов, приближавшихся к дверям Николаевского зала, волнение охватило его. Он хотел крикнуть караулу «в ружье» и не мог. Свинцовая тяжесть разлилась по его телу. А между тем сонм царей и цариц уже врвался в зал. Громко треснула дверь и распахнулась, и... Саблин проснулся.

Он сидел на стуле у окна и спал в самой неудобной позе. Солдат караула уронил каску, и ее стук разбудил Саблина. В зале был полумрак, тускло горели по углам и в люстре редкие электрические лампочки, неподвижно, тяжело вздыхая, сидели люди караула, в соседнем зале кто-то сдержанно-хрипло, по-ночному кашлял. Саблин заглянул в окно. Месяц стоял как будто на том же месте. Шпиль Петропавловского собора тускло светился. Метель курила по Неве. На Мытной набережной, в пятиэтажном доме, светилось одно далекое окно.

Какой-то человек два раза прошел взад и вперед по набережной, заглядывая в окна и беспокойно озираясь. Он был, несмотря на зиму,



в одном распахнутом пиджаке, из-под которого виднелась темно-синяя рубаха, и в мягкой черной шляпе. Большой финский нож висел у него спереди на ремне, и два револьвера были с боков. Человек этот решительно подошел к окну, в которое смотрел Саблин, скинул пиджак и быстро и ловко, как обезьяна, полез по водосточной трубе, цепляясь за выступы украшений дворца. Саблин не шевелился и ждал. Странное оцепенение охватило его. Человек долез до окна и усталился вплотную в лицо Саблина тусклыми светлыми глазами. Он с ненавистью смотрел на Саблина и что-то говорил. Саблин не шевелился. Он не знал что делать. Между тем человек вынул из кармана алмаз и стал резать стекло, осторожно надавливая его пальцами и не сводя серых злобных глаз с Саблина. Только стекло отделяло их друг от друга. Вдруг он пошатнулся, потерял равновесие, взмахнул рукой с алмазом и полетел вниз. Саблин услышал, как глухо, словно мешок с мукой, ударилось его тело о гранитные плиты тротуара, и проснулся. Он понял, что сон продолжался, и он тогда не просыпался, но видел во сне, что проснулся.

Голова была тяжелая. Он сидел в кресле у окна. Начинало светать. Два казака с головами, закутанными башлыками, проехали верхом по набережной, и копыта их лошадей глухо стучали по торцу, покрытому снегом. Дворец охранялся кругом. Казаки проверяли пехотных часовых. В коридоре у дверей квартиры Государя слышался тихий, спокойный шум. Сменялись часовые. Там стояли казаки, конвойцы, пехота и полиция. Все следили друг за другом.

Жутко стало Саблину. Жутко за Государя, так тщательно охраняемого и не могущего никому верить, не знающего, кто, когда и как его предаст.

### XXXIV

Светало. На улице дворники в серых одинаковых русского покроя кафтанах скребли панели и сгребали снег в кучи. Был сильный мороз. От них шел пар, и лица их были красны. Приехали сани с койками для снега. Лошади стояли и когда вздыхали, то белые струи вылетали из ноздрей. В зале было холодно. Часовые ежились у дверей, у Саблина стыли руки. Лампочки погасли, бледный свет входил в зал и блестел паркет и блюда.

Зал вдруг наполнился людьми в красных рубахах и синих шароварах. Они стали натирать полы. Это пришли полотеры. А может Саблин ручаться, что между полотерами нет того человека с бледным лицом и серыми горящими нечеловеческою злобою глазами, которого он видел во сне.

Полотеры молча делали свое дело. Они быстро прошли всю артелью по залу и исчезли.



Прошло два скорохода. Один нес раскаленную жаровню, а другой попивал на нее душистый уксус. Уксус с шипением дымился, и по залу пахло чем-то сладким... Так пахло при Александре, Николае, Александре Благословенном, Павле, Екатерине... быть может, такое же курение было у царей московских в их дворцах-теремах.

Зал оживал. Саблину подали чай. Потом четыре человека, просто одетых, в сопровождении лакея пронесли громадные корзины с цветущими гиацинтами. Лакей посмотрел на Саблина и многозначительно шепотом сказал ему: «В покои Государыни Императрицы».

Сладкий запах гиацинтов остался на несколько секунд в зале и напомнил Саблину бело-розовое тело Китти.

Хотелось проникнуть за этими людьми в спальню, где почивала та, перед которою благоговел Саблин. Похожа ли она на спальню обыкновенной женщины?

Саблин прогнал эти мысли, как греховные, кощунственные, несоместимые со святостью места.

Без пяти минут в одиннадцать через зал почти бегом пробежал старенький лакей в красном кафтане и почтительно-тревожно проговорил Саблину: «Государь Император».

Опять то же волнение, тот же страх и восторг, что на параде и маневрах, заставили шибко забиться его сердце.

За два зала мерно и четко ответили на приветствие люди казачьего караула.

Из арки подле портрета вышел Государь. Он был в длинном пехотном сюртуке при шашке, шароварах и в высоких шагреновых сапогах. На голове была чуть набок одетая фуражка. Он шел на прогулку. Шел один.

Саблин, волнуясь, неровным голосом скомандовал построенному караулу «слушай на краул!» и замер сам, опутив палаш и смотря прямо в глаза Государю. «Если Государь остановится, — думал Саблин, — я должен сейчас же рапортовать». И мысленно повторял рапорт, чтобы не сбиться: «В карауле и на постах Вашего Императорского Величества от...»

Но Государь не остановился. Он ласково моргнул глазами Саблину и сказал на ходу: «Здорово, караул»... Солдаты сдержанными голосами, как их учили отвечать во дворце, ответили: «Здравия желаем Вашему Императорскому Величеству», и не успело эхо их голосов заглохнуть по углам зала, как уже Государь скрылся за дверью в Малахитовый зал.

То, что Государь шел на прогулку, в сюртуке, один, казалось как-то слишком обыденным, не подходящим для его величия, но было и что-то трогательное в его появлении здесь, в зале, в одиннадцать часов утра. Если бы он не прошел, было бы скучно вспоминать все напряжение караула, бессонную, полную призраков и кошмаров ночь... Теперь все это было скрашено ласковым взглядом серых глаз и ровным покойным голосом приветя.

В двенадцать часов пришла смена. Саблин опять священнодействовал, но теперь никто, кроме дежурного плац-адъютанта, не смотрел на него. Великого князя не было во дворце, а комендант был на смене пехотного караула. Полный, с черной бородкой на сытом холеном лице кавалергардский штаб-ротмистр не священнодействовал, но сменялся небрежно. Он опоздал скомандовать «на караул» и, проглатывая слова, неясно представился и долго не мог вспомнить пароля.

— Пароль, — говорил он, — пароль, ах, как бишь его, вот черт... У меня на бумажке записано... Пароль — Гельсингфорс.

От этого пропадала торжественность и сказочность обстановки. Краски блекли, и все уже казалось обыденным, будничным и далеко не столь важным.

В час дня люди, переодевшиеся в старые мундиры и шинели, шли с Саблиным в казармы. Они были голодны и торопились к обеду. Был сильный мороз и солнце. Снег скрипел под дружными ногами солдат, и мерно в такт звенели шпоры.

От всей сказки караула подле покоев Царственной четы, от блеска и таинственных призраков громадного зала осталось одно физическое утомление и страстное желание скинуть каску, снять с измученного тела тесный мундир и амуницию и броситься в постель и спать!..

### XXXV

Недели через две после того, как Саблин был в карауле, он получил по городской почте письмо от генеральши Мартовой. Генеральша Мартова напоминала, что она когда-то была дружна с его покойною матерью, сообщала, что у нее собирается молодежь, хотят ставить оперу и она, зная, как музыкален Monsieur Саблин, очень просит его принять участие в этой маленькой опере и приехать в четверг ровно в 8 часов сговориться о вечере.

Саблина это письмо не удивило. В эту зиму он часто получал подобные приглашения. То на бал, то на вечеринку. Прекрасный танцор, светский человек, могущий всегда развлечь общество, блестящей фамилии, богатый, красивый — он был желанным гостем всюду, где были барышни-невесты, где танцевали, играли в *petits jeux*<sup>1</sup>, где были юноши и девушки.

Он показал это письмо офицерам в эскадроне. Оказалось, Мартову знали и Гриценко и Мацнев.

— Умрешь со скуки, — сказал Гриценко. — Никакой там оперы не будет. Оперу чуть ли она не сама и пишет и все никак не рискнет показать ее миру. А будут разговоры, мятные пряники, каленые орехи, пастила и мармелад — русские якобы лакомства. Просто потому, что де-

<sup>1</sup> Маленькие игры.

шевле конфет, а народа у нее собирается уйма, все молодежь и такая, что на тарелку себе кладет целыми горстями. Об ужине и не мечтай. Хорошо, если по ломтю ветчины дадут. Скучища смертная и все оры, оры — разговоры.

Мацнев был иного мнения.

— Пойди, Саша. Там ты познакомишься с нашей демократией и интеллигентами, — с нескрываемой брезгливостью Мацнев подчеркнул слово «интеллигенты». — У Екатерины Алексеевны страсть собирать кухаркиных сыновей и слушать доморощенных Робеспьеров и Маратов. Но там иногда наткнешься и на такую Шарлотту Корде, что просто прелесть. Иногда полезно окунуться в эту молодежь с ее зелеными речами, желтыми носами и писком и визгом о свободе... от латинского языка. Освежает.

— А ты не пойдешь, Иван Сергеевич?

— Нет, я туда больше не ходок.

— Отшили, — захохотал Гриценко, — начал Анакреона проповедовать, а там это не в моде. Там мужик, да Лев Толстой, да вот еще новая мода Чехов... Там ты услышишь, как Пушкина разделяют. Наряду с Ломоносовым поставят. Отжившая, мол, поэзия. Помещичий быт. Но иди, пожалуй. Только мой совет — рюмку водки домахвати. Там общество трезвости. Квакеры...

Саблин решил пойти. То, что он слышал, заинтересовало его. Это было что-то новое.

Опоздав по петербургскому обычаю на час, ровно в 9 он подъехал к высокому дому на Николаевской улице и поднялся в третий этаж. Небольшая ясеневая вешалка была густо увешана шубками на вате и на дешевом меху, гимназическими и студенческими пальто и фуражками. Из квартиры неся нестройный гул молодых голосов. Горничная провела Саблина через просто убранную гостиницу, освещенную керосиновыми лампами, где стоял рояль и были пюпитры для скрипачей, в столовую. Там за большим столом, по-семейному, сидело человек двадцать гостей. Сама Мартова, полная, веселая, русая седеющая дама, была за громадным самоваром. Саблин представился ей. Он был с визитом, но не застал ее. При входе Саблина, свежего, надушенного, в изящно сшитом вицмундире со шпагой, все общество притихло.

— Не здоровайтесь, — сказала Мартова. — У нас не принято. Только грохота стульями наделаете. Постепенно познакомитесь. Да и чего представляться, за разговорами узнаете. Тут все свои. Саша, Гриша, Костя, Валя, Лена, и звать иначе язык не повернется, выросли на моих глазах, а теперь вот какие разбойники стали. Это вот дочь моя — Варя.

Мартова показала на девушку лет двадцати, просто одетую, гладко причесанную, с круглым, добродушным, некрасивым лицом. Оно казалось еще круглее от больших круглых очков, сидевших на маленьком носу и прикрывавших светлые выпуклые близорукие глаза.

Варя сделала легкий кивок головою и протянула Саблину большую мокрую руку.

— Мы очень рады, — сказала она, — что вы приехали. Это показывает, что вы не гордый и не пустой аристократ. Это, — она указала на сидящую рядом с нею брюнетку, — моя лучшая подруга Маруся Любова, прошу любить и жаловать.

Саблин мельком взглянул на Марусю. Прекрасное лицо, в раме темно-каштановых волос, с голубыми, ясными восхищенными глазами, мелькнуло перед ним. Он не разглядел ее сразу. Слишком много народа было кругом. Слишком все сразу молодо и задорно зашумели. Кто-то подошел к нему стул, кто-то раздвинулся, и Саблин сам не заметил, как очутился в середине большого стола, среди множества юношей и девушек перед дымящимся стаканом чая с лимоном и большим куском шведского кисло-сладкого хлеба, густо намазанного белым сливочным маслом.

— Ну вот, — услышал он чей-то звонкий голос, — наконец и представитель власти и насилия есть между нами, и мы можем обсудить вопрос о том, какова будет новая армия.

— Позвольте, товарищ, я полагаю, что армии вообще не должно быть никакой, — перебили его с другого конца стола.

Саблин посмотрел на говоривших.

Первый был студент, одетый с умышленной небрежностью в синюю косоворотку с вышитым воротником, поверх которой была черная суконная поношенная студенческая куртка с блестящими пуговицами. Ему возражал худощавый бледный гимназист с молодой курчавой бородкой, росшей больше у шеи, нежели на щеках, в длинном синем гимназическом сюртуке с белыми пуговицами, настолько стертые, что большинство были с красно-медными пятнами.

— Как никакой армии не должно быть, — воскликнул совсем юный вихрастый гимназист, с красными щеками и карими глазами, опущенными длинными ресницами. Одет он был в чистую, новую черную куртку и казался самым юным из всех. Он, как только вошел Саблин, не спускал с него влюбленного взгляда и все время любовался его погонями, пуговицами, кантиками. — Но тогда придут немцы и завоюют нас.

— Эх, куда хватил! — воскликнул студент-технолог в помятой куртке, наглухо застегнутой у шеи. — Это на пороге двадцатого века завоевательная война. Теперь не те времена!

— А почему?

— Народ не согласится идти воевать. Народ уже понял, что такое война и войны теперь немислимы, — безапелляционно сказал студент в тужурке.

— Ладно! Прикажут и будет война, — сказал гимназист, запихивая в рот такой громадный кусок хлеба, что Саблин посмотрел на него, не подавится ли он.

— Иначе для чего же всем вооружаться, — сказал бледный болезненный реалист, с коротко остриженными белыми волосами. — Вооруженный мир обходится Европе слишком дорого, и Европа накануне банкротства.

— Товарищи! Коллеги! — умоляюще сказала Варя Мартова. — Опять беспорядок, опять крики с мест, опять каждый говорит свое мнение и не слушает другого. Ведь мы решили пригласить сюда, к нам, представителя армии, чтобы задать ему ряд вопросов по его специальности. Выслушать мнение специалиста и тогда судить. Вот и приступим.

— Возможны ли теперь войны? — задал вопрос реалист.

— Нет, нет, — кричал с угла стола холеный студент в прекрасном мундире с золотым кованого шитья воротником, с маленькими красивыми усами и бледным лицом в пенсне. — Я настаиваю на моей постановке вопроса. Армии ли для войны, или войны для армий?

— Неясно, — сказал студент в тужурке.

— Товарищи, я прошлый раз докладывал, что если не будет армий, не будет милитаризма, искусственно разводимого в народе, то и войн не будет. Вооруженные люди являются источником войны. Надо разоружиться.

— Но тогда всем, — запальчиво крикнул хорошенький гимназист, наконец прожевавший свой кусок.

— Ну, конечно, всем, — спокойно сказал холеный студент.

— Это невозможно, — проворчал мрачный черный технолог.

— Товарищи, — перекрикивая всех, закричала Варя Мартова. — Не угодно ли по вопросам. Monsieur Саблин...

— Что за monsieur, — проворчал мрачный технолог.

— Господа, это свинство, — воскликнул хорошенький гимназист.

— Начинается ерунда, — сказала высокая стройная девушка со лбом, покрытым красными прыщами, и нездоровым лицом, сидевшая рядом с Любовиной.

— Я говорю только, что с наличием армии нарушается равенство, — проговорил мрачно технолог.

— Называть по чинам? — спросила маленькая девушка-перестарок, с тонким, птичьим носом и злыми глазами.

— Нелепость.

— Не все ли равно.

— Итак, — снова всех перекричала Варя. — Итак, я спрашиваю... Гриша, оставьте. Товарищ Павел Иванович, вы скажете свое мнение после, — для чего служит армия, ее назначение, monsieur Саблин. Точная формулировка вопроса и ответа.

— Защита Престола и Родины есть обязанность солдата и армии, — проговорил Саблин казенными уставными словами.

Невообразимый шум поднялся кругом.

— Позвольте! — с другого конца стола кричал студент в тужурке, — защита? Но от кого? Для того, чтобы защищать, надо, чтобы напали, а если никто не нападает, то для чего и защищать. Ясно, как шоколад.

— Но могут нападать, — выкликнул хорошенький гимназист. Он все больше и больше становился на защиту армии и Саблина. Он и сам в тайниках души своей мечтал бросить Саллюстия и Овидия Назона и пойти в юнкерское училище.

— Могут, а могут и не нападать. Надо только согласиться, — сказал студент в тужурке.

— Товарищ Павел, — обратилась к нему Варя Мартова. — Погодите — мы спросим: *от кого* — защита?

— От врагов внешних и внутренних, — опять по-уставному ответил Саблин. Он был огорошен перекрестными вопросами, быстрым обменом мнений. Первый раз вопросы эти — такие ясные, простые и очевидные — ставились ему людьми, которые не видели в них ни ясности, ни простоты, ни очевидности.

— Вот она! Вот она! Я говорил, Варвара Николаевна, что мы договоримся до того, что студенты враг внутренний, — кричал студент в тужурке.

— Господа, — сказала хорошенькая девушка в платье гимназистки, сидевшая по другую сторону *madame* Мартовой, — даже Герцен с уважением говорил об офицерах и армии.

— Не прикажете ли называть *ваши благородие*? — кинул технолог.

— Враг внешний, — говорил бледный реалист. — Но его нет. Кто пойдет теперь воевать? Теперь немислимы войны за испанское наследство, войны династические, какие-нибудь войны алой и белой розы. Прогресс, культура человечества, гуманитарные науки — все это сделало невозможным, чтобы немецкий мужик вдруг пошел убивать русского мужика. Лев Николаевич Толстой своей глубочайшей проповедью непротивления злу и Сенкевич своим «Вартеком-победителем» сделали больше для счастья человечества, нежели все императоры. Они доказали бессмыслицу войны с внешним врагом. Я чувствую, что *внешнего врага* нет и не может быть.

— Bravo, Павлик, — воскликнул технолог.

— Теперь — враг внутренний. Остановимся на этом вопросе. В государстве, в котором нет абсолютизма и тирании, в котором достигнуто полное равенство граждан, не может быть недовольных. Недовольство разрешается не бойнями, не виселицами — но парламентарным путем. Мы вступаем в золотой век человечества. Двадцатый век — будет веком мира и мирных реформ. Звериные кровожадные инстинкты исчезнут, и не нужно будет ваших благородий, отдания чести, рабства в лице денщиков и грубой силы, чтобы держать и не пускать!

— Bravo! Bravo! Павлик, — шорохом пронеслось над столом.

— Что скажете, господин офицер? — обратился прямо к Саблину студент в тужурке.

### XXXVI

Саблин оглянул все общество. Он уже разделил его в своем уме на людей, ему сочувствующих, в которых он почему-либо сумел возбудить к себе симпатию, и на людей непримиримых, возненавидевших его с первого взгляда за его мундир, за погоны, за шпагу, за цветную

фуражку. Он понял, что этих людей ему не свернуть и им не доказать правоту своего мнения.

К первым принадлежала дочь хозяйки. Олицетворенное непротивление злу, она стала на его сторону лишь потому, что увидела, что на него напало большинство, а он не готов к защите. На его стороне, очевидно, была и молчавшая все время Маруся Любовина. Такая красавица не могла не быть доброй. Этого требовала гармония. Красота невольно тянулась к красоте, а Саблин знал, что он красив. Он принял вызов ради нее. Он все время чувствовал на себе взгляд темно-синих глаз Маруси, хотел блеснуть перед нею умом и не ударить лицом в грязь. Он чувствовал, что она, все время молчавшая, волновала своим взглядом всю молодежь, и она сталкивалась мнениями ради нее.

Союзником была и белобрысая с прыщами на лбу девушка, и красивая барышня, сидевшая рядом с madame Мартовой. Одна была слишком некрасива, другая, напротив, хороша собою, и потому обе, наверно, имели добрые сердца.

Вихрастый гимназист открыто стал на сторону Саблина, студент с кованным воротником тоже ободрительно смотрел из своего угла. Он был, видимо, свой, не из *кухаркиных сыновей* или хотел казаться таким и потому хотя и возражал, но возражал слабо, видимо, только для того, чтобы не потерять своего веса в этом обществе.

Было несколько безразличных. Три барышни сидели рядом подле недурненькой гимназистки, перешептывались между собою, смеялись, толкали друг друга и, видимо, далеки были от всего этого спора. Здесь, как и везде в России, барышни сбились в один угол стола, к самовару и хозяйке дома — мужчины заседали на другом. Большинство курило, не спрашивая позволения хозяйки.

Самыми непримиримыми были Павлик, бледный, нездоровый и злой, студент в тужурке, технолог, еще два гимназиста и маленькая девица с тонким длинным носом, похожим на птичий клюв, которую Саблин про себя прозвал «пигалицей». Саблин заметил, что его противники были все некрасивы, болезненны, имели какой-либо физический недостаток. Товарищ Павел подергивался, технолог слегка заикался, у студента в тужурке одно плечо было короче другого, пигалица была безнадежно безобразна — вероятно, это влияло на них и усиливало их злобность. Напротив, те, кто старался примирить, были или красивы, как Маруся Любовина, вихрастый гимназист и студент с кованным воротником, или если были совсем некрасивы, как Варя Мартова, то были здоровы и хорошо сложены. Варя Мартова — снимки с нее ее круглое курносое лицо с близорукими глазами в очках — красавица, русская полная красавица с большой грудью, широкими бедрами и полными белыми руками... «Видно, — подумал Саблин, — верна русская поговорка — Бог шельму метит».

— Я с вами совершенно не согласен, — начал он свое возражение реалисту, — злоба между людьми существовала независимо от того,



имели они оружие или нет. Оружие явилось потом, как результат необходимости защищаться.

— Старо! Старо как мир. И давно позабыто! — закричал студент в тужурке. — Homo homini lupus est<sup>1</sup> — это оставить, это забыть надо.

— Но, — вдруг возразил студент с кованным воротником, — именно христианство породило бесчисленные войны, крестовые походы, иезуитизм и инквизицию.

— Да, неправильно понятое, — звонко, действительно как пигалица, прокричала маленькая девица. — Но христианство, претворенное в социализм, несомненно, прекратит войны.

— Или превратит их в бесконечную классовую борьбу, — вставил вихрастый гимназист.

— Товарищи, — воскликнула из-за самовара Мартова, — но мы опять далеки от темы.

— Тезисов нет, — сказал студент-технолог.

— Я поставил вопрос совершенно ясно, — сказал реалист, — и получил уклончивый ответ. Я поясню. Мировое положение так запуталось, народы вооружились, и потому войны стали вполне возможны. Мир обратился как бы в лук с натянутою тетивой. Каждое мгновение может начаться пожар мировой войны. И я утверждаю, что для того, чтобы прекратить такое невозможное положение, необходимо кончить вооружения, перековать мечи на орала. Когда не будет военного привилегированного сословия, не будет офицеров и воинской повинности, войн не будет.

— Нет, это не так, — возразил Саблин. — Это утопия. Сделать так, чтобы все разоружились, невозможно. Но допустим, что это сделано. Но разве для того, чтобы воевать, нужны магазинные ружья и скорострельные пушки? Достаточно выломать палку, взять самый мирный инструмент: молоток, топор, серп или косу, чтобы стать сильнее человека голого. Малейший неразрешенный или неразрешимый спор — и драка готова, а драка между народами — война. Военная наука...

— О!.. Какую еще науку выдумали! — воскликнул технолог. — Да разве есть такая?

— А как же, — уже владея собою, возразил Саблин. Маруся его вдохновляла. Он видел сияние ее глаз, радость, в них отраженную всякий раз, как он что-либо удачно ответил. — Военная наука есть, и она так же точна, как точна математика. У ней есть свои аксиомы, у ней есть свои теоремы, и подобно тому, как в математике Пифагор, Ньютон открыли нам законы непреложных истин, в военной науке великие полководцы, начиная с Александра Македонского и Юлия Цезаря, оставили ряд выводов, составивших то, что вошло в основу тактики и стратегии.

— Ну, например, — снисходительно сказал технолог, готовый разбить по пунктам все, что попробует сказать Саблин.

<sup>1</sup> Человек человеку — волк.



— Например, — отвечал Саблин, — Наполеон нам завещал, что для того, чтобы победить, нужно в известном месте в известное время быть сильнее противника. Он сказал нам *les gros bataillons ont toujours raison*<sup>1</sup>. И мы, например, часто проигрывали сражения и кампании только потому, что надеялись на доблесть русского солдата и на русское авось и вели бой батальонами там, где надо было навалиться корпусами... Другое правило говорит нам, что начатую победу надо довершать непрерывным, неутомимым преследованием. Дорубать до конца. Петр Великий сказал по этому поводу — «недорубленный лес вырастает скоро»...

— Ужас! Ужас! — запищала пигалица. — И вы этому ужасу даете святое имя науки.

— Наука убийства! — с отвращением проговорила одна из бледных барышень и презрительно поджала губы.

— Это не наука, — сказал студент в тужурке. — Если играть такими аксиомами, то и остановку во фронт можно ввести в догмат науки.

— У них есть и другие аксиомы, — ядовито сказал реалист. — Их Суворов сказал: «За битого двух небитых дают».

— Он не совсем так сказал, — успел только встать Саблин, как на него мощным басом обрушился студент в куртке.

— Ну, что вы говорите! А фридриховское изречение, что нужно, чтобы солдат боялся палки капрала более, нежели пули неприятеля.

— А аракатеевское: «Нужно забить десяток, чтобы выучить одного».

— Шпицрутены и палки, палки... — кричала пигалица.

— Товарищи, спокойствие, — пыталась вернуть порядок Варя Мартова. Но страсти загорелись, к методичному спору молодежь не была готова ей надоело сидеть за столом, хотелось движения, шума, крика. — Мордобойство. Драгомиров пишет: «в войсках бьют», — говорил реалист.

— Я сама видала на даче, как офицер бил денщика, — вставила пигалица.

Штатских за людей не считают. Этим летом у театра Неметти конвойный офицер студенту руку отрубил — и ничего.

— Скандалисты!

— Товарищи! Это свинство, — кричал вихрастый гимназист. — Это не спор, все на одного, не дают слова сказать.

— Мы личностей не трогаем.

— Всякая личность достойна уважения. Герцен смог даже о жан-дармских офицерах хорошо написать.

— Но принципы! Борьба против принципов.

— Социалисты правы! Они требуют всеобщего разоружения.

— Уничтожения армии!

Слова вспыхивали и летели, как яркие огоньки дешевого фейерверка. Саблину трудно было следить, кто что говорит, отвечать было

<sup>1</sup> Большие силы всегда себя оправдывают.

безполезно. Кому? На что? Но молодежь заражала его. Он покраснел, и ему было хорошо в этой словесной свалке. Он начал понимать спортивный интерес спора.

— И первые вооружаются, — выкрикнул смело вихрастый гимназист. Все повернулись к нему.

— Как? Что? Вот ерунда, — раздались восклицания. — Товарищ, вы обалдели.

— Бомбами и револьверами, — сказал гимназист и сам испугался своих слов. Все обрушились на него.

— Товарищи, это предательство.

— Опричник.

— Сам опричник!

— Господа! Довольно.

— Это подлость.

— Гадость, — шипела пигалица. — Это самозащита. Борьба за свободу.

— Нет, каково! Каково! Подумайте. Социалисты вооружаются. Сказал тоже!

— А хотя бы и вооружались. Они вынуждены к этому гнетом правящих классов.

— Ну, господа, довольно, — вдруг сказала madame Мартова и встала из-за стола. — Поспорили, повоевали и баста. Идемте пить.

Все задвигали стульями и стали выходить из-за стола. Никто, кроме Саблина, не подошел благодарить хозяйку. Саблин хотел поцеловать ей руку, но она сильно потянула ее книзу и не дала ему это сделать. Здесь это было не принято.

Студент в тужурке сложил свои руки рупором и диким басом, как кричат в театральном райке, вопил: Любовину! Любовину-у-у!..

## XXXVII

На другой день, в семь часов утра, Саблин пошел в манеж обучать смену новобранцев. В большом темном манеже горели круглые электрические фонари и чуть рассеивали мрак. Было холодно и сыро. Когда отворяли тяжелую дверь на улицу, густой белый пар столбом клубился из нее и тихо стлался по мокрому и скользкому земляному полу. Ротбек уже был на занятиях. В пальто при шашке, в фуражке, заломленной на затылок с опухшими от сна щеками и заспанными глазами, он звонко, на весь манеж кричал:

— Вольт направо! ма-арш... Равняться налево. Туже левые шенкеля. Не давай откидывать зада наружу, а правым держи лошадь!

Саблин поздоровался с Ротбеком и с солдатами и стал в стороне.

— Командуй, Пик, — сказал он.

Он был не в настроении, не выспался, какие-то мечты, точно остатки сновидений, как туман после бури, носились у него в голове и мешали ему сосредоточиться на обучении солдат.

Ротбек бегал по манежу, поправлял, кричал, суетился.

— Да нет же, Меркулов, не так ты сидишь. Зачем наперед валишься. Смотри, вот как!

Ротбек приседал, стоя на расставленных ногах, подбирал поясницу, выгибался.

«Счастливым, Пик, — подумал Саблин. — У него всегда одинаковое настроение, он может заставить себя после кабалки быть таким же исправным, как всегда. Ему спать хочется, он полон иных впечатлений, а вот заставил же себя уйти в солдат.

Беспутный, верно шатался всю ночь, а теперь, как ни в чем не бывало ушел в смену, в кулаки, носки, подбородки, шенкеля и поясницы ... Счастливым Пик!.. Я так не могу... Вот, позвали ее петь. Студент мрачным басом кричал: Любовину! Любовину!.. и она вышла. Какая легкая походка! Какие маленькие ножки! Прошла по залу, стукнула каблучком и нагнулась разбирать ноты. Прищурились красивые глаза, маленькие розовые пальчики листают тетрадь. «Я спою вам «Голодную» Цезаря Кюи, слова Некрасова», — и стала у рояля. Глаза сделались печальными, лицо осунулось, грудь высоко поднимается, горе и страдание отразились в очах. Да она артистка! В двух, трех нотах дрогнул не выработанный голос, но вообще — она поет прекрасно. Широкий диапазон ее голоса дает ей возможность справляться с трудными местами сложной музыки Кюи. Кончила и тихо улыбается на шумные аплодисменты молодежи. Поет еще... «Холодно... голодно в нашем селении...» Это «Молебен». Кто она? Почему своим талантом, силою своего голоса она будит все одни печальные, мрачные мысли. Голод ... неурожай... засуха... Кто?.. Кто она? Он подошел к ней. Она, побледневшая от волнения, стояла у рояля, и пальчики ее рук стали совсем белыми, она держалась за край черной доски. Барышня с прыщами на лбу, аккомпанировавшая ей, наигрывала мелодию, эта мелодия придавала их пустому разговору какой-то особенный смысл и делала его значительным».

— Какой сильный талант у вас, — сказал Саблин и запнулся. Он не знал, как ее назвать. Их познакомили за чаем: «Моя подруга — Маруся».

Маруся подняла на него глаза, глубокие, темные, синие, сапфировые. И красивы были они при ее белом лице и темных на лоб сбегаящих завитками каштановых волосах!.. Она — красавица!

— Вы находите, — сказала она. Румянец смущения залил ее щеки и виден стал белый пушок юности, окутывавший золотую дымкою нежный овал ее лица.

— С таким голосом, с такою наружностью вам на сцену надо. Вы покорите всю Европу, весь мир будет у ваших ног.

— Оставьте, — сказала она.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие ко второму изданию</i> . . . . .	5
Пролог . . . . .	9
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ . . . . .	20
ЧАСТЬ ВТОРАЯ . . . . .	236
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ . . . . .	344
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ . . . . .	514
ЧАСТЬ ПЯТАЯ . . . . .	642
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ . . . . .	757
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ . . . . .	918
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ . . . . .	1078